НА НАШЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ

КСЕНИЯ

НЕКРАСОВА



СТИХОТВОРЕНИЯ

Библиотека поэзии
Каменного пояса





Библиотека поэзии Каменного пояса

КСЕНИЯ НЕКРАСОВА

НА НАШЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ

Стихи, наброски.
Воспоминания современников

Екатеринбург
Издательство
Банк культурной информации
2002

УДК 821.161.1-1(081.2+082)„2002"Н.Н.
ББК 84(2Рос=Рус)6-5я44+я43
Н48

Книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры Свердловской области

Составление, подготовка текста и предисловие Л.П.Быков

В оформлении издания использованы репродукции рисунков Р.Р.Фалька, В.Яковлева

Издательство выражает признательность всем авторам, чьи стихи и воспоминания составили мемуарный раздел этой книги.

Некрасова К.А.
Н48 На нашем белом свете: Стихи, наброски. Воспоминания современников / Сост. и подгот. текста Л.П.Быкова. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2002. — 336 с.: ил. — (Библиотека поэзии Каменного пояса).
ISBN 5-7851-0365-6

В книгу, представляющую творческое наследие Ксении Некрасовой (1912–1958), наряду с известными стихотворениями, вошли архивные материалы. Особый раздел составили стихи и воспоминания, посвященные поэтессе, родившейся на уральской земле.

УДК 821.161.1-1(081.2+082)„2002"Н.Н.
ББК 84(2Рос=Рус)6-5я44+я43

ISBN 5-7851-0365-6

С НАМИ НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ

Ксению Некрасову многие, согласитесь, узнали раньше, чем ее стихи. Товарищи по литературе часто в последние десятилетия печатали в периодике и собственных книгах посвященные ей стихи и воспоминания (эти публикации, заметим, стали основой мемуарного раздела данного сборника).

Известны и ее портреты, написанные почти одновременно — в середине 50-х годов — такими во всем друг от друга отличными художниками, как Роберт Фальк и Илья Глазунов.

Из фальковской серии некрасовских изображений чаще других воспроизводится то, где запечатлена сидящая женщина, коренастую фигуру которой подчеркивает ниспадающее до полу темно-красное платье нехитрого свободного покроя. Мягко опущенные руки сложены на коленях, лицо спокойно, взгляд кроток и задумчив. Все естественно и обыкновенно, и вместе с тем ладная эта простота напоминает... дымковскую игрушку.

Портрет работы И.Глазунова, казалось бы, не имеет с фальковским ничего общего. Но это портрет той же самой личности, обнаруживающий за будничной неприметностью и внешней простотой характер сильный, целеустремленный, истовый. Приближенное к нам лицо, асимметричное, с крупными чертами, таит такую страстность и напряженность, что безошибоч-

но угадываешь натуру цельную и глубокую. Сразу приходит на ум воскресшее в одном из стихотворений Бориса Слуцкого восклицание самой Некрасовой: “Какие лица у поэтов!”.

Поэты, в отличие от версификаторов, обычно похожи на свои создания. О стихах Некрасовой не скажешь: своеобразны. Они — удивительны. И необычность их — не от заданности, не от стремления во что бы то ни стало выделиться среди прочих. Кажется, что ее стихи — создания того, кто первым из русских почувствовал в себе дар поэта. Но у изумляющей своей первородностью поэзии — сильные корни. Осознавая их, Некрасова в одном из писем подчеркивала, что на Руси издревле существовали “стихи без рифмы, основанные на глубокой мысли и образе, где словам тесно, а мыслям просторно, поэзия историческая и государственная, о трагедиях и победах народа”. Она была убеждена (и подкрепляла это мнение ссылками на “Слово о полку Игореве”, “Бориса Годунова”, “Песню о Буревестнике”), что “нельзя поместить огромные пространства и человеческие страсти, действующие на этих огромных пространствах, в “европейские рамочки” рифм”.

Поэзия Некрасовой оказалась близка взглядам такого искушенного знатока поэзии, как Николай Асеев. Сохранились черновики его “Поэтической панорамы”, где он, обозревая судьбы русской поэзии с дописьменных времен до 60-х годов нашего столетия, обращает внимание на стих народный, “не размеренно повторный, а “дышащий” весельем или гневом, удалью или унынием”:

Стих при дворе начинался с виршей,
наборщик с титлов его набирал;
изустный же стих собирался Киршей
Даниловым, — сосланным на Урал.

Стих при дворе был приятным, полезным —
чувств верноподданных сладкий плод,
а на Урале — стих был железным,
пламенным от огневых работ.
Там трепетало живое слово
не лампадками у икон,
стих там был — кумача обнова, —
не из немецко-польских сукон.

Поэзия Некрасовой — в кровном родстве с вольным словом народной поэзии, равно как с подвижническим искусством уральских камнерезов, мастеров дымковской игрушки или таких художников, как недавно открытый на костромской земле "рыцарь сказочных чудес" Ефим Честняков или другой самородок от живописи Анатолий Зверев. И простота ее строк — не простота примитива, а простота органичности, первозданности, цельности, где все идет от непосредственности души. Души сколь чистой, столь и богатой.

Чудо жизни, ее "огромная красота" открываются поэту в самых заурядных ситуациях и явлениях. Умением, точнее — свойством видеть поэзию всюду Ксения Некрасова делится с нами. Ее героиня лишена малейшей предубежденности по отношению к кому-либо (или чему-либо) на земле. Привычная иерархия ценностей, согласно которой все сущее делится на главное и второстепенное, новое и привычное, праздничное и обыденное, неведома этой поэзии — она ко всему приязненна, всему открыта.

Редкостное ощущение единства жизни отличает творчество Некрасовой. "Вот на нашем белом свете..." — так начинается рассказанная ею "Сказка". И такое уточняющее местоимение — на *нашем* — естественно для человека, открывшего в окружающем множество сокровенных и жизнетворных связей.

В отношении к миру Ксения Некрасова похожа на

героинь Андрея Платонова — таких, как Ольга ("На заре туманной юности") или Фро. Помните: "Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой из всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека".

В другом произведении этого художника, умевшего думать о частной и всеобщей жизни как едином целом, есть формула, под которой подписалась бы и Некрасова: "Чтобы сберечь счастье, надо жить обыкновенно". Героиня ее стихов тоже живет обыкновенно, подчеркнуто буднично: "Колоть дрова привыкла я...", "С утра я целый день стирала...", "И сели в телегу и с плугом поехали в поле сеять...". Но каждое утро она вставала не просто для того, чтобы стирать, сеять, заготавливать топливо, но и для того, чтобы *жить*.

Знакомая всем "человечьим мальчишкам" радость "быть живым" обычно оставляется на пороге отрочества, и о ней вспоминают потом лишь в критических ситуациях, когда из-за болезни, старости ли возникает угроза самому факту существования. Радость не спесива, она возвращается, но уже не одна — с нею приходит и неумолимое знание о неизбежной конечности твоего "я". Природная "одаренность к жизни" помогла Некрасовой пронести сквозь все земные дни восхищенность всегдашней новизной мира:

Каждый год
рождается вновь —
из весны,
из травы,
из небес человек.
И нет
насыщения жизнью,

и хоть сто раз
на земле живи:
утоления нет рукам,
наглядения нет глазам.

И трудно поверить, что вдохновенные гимны земле и ее обитателям принадлежат человеку, не имевшему подчас и крыши над головой, даже хлеба насущного. "Трудно поверить?" — удивляется в свою очередь поэт и, будто отвечая на подобную читательскую реакцию, пишет:

Почему-то первыми на ум идут печали.
Но приходят и уходят беды,
а в конечном счете остается
солнце, утверждающее жизнь.

Пафос приятия сущего в некрасовской лирике сколь очевиден, столь и последователен. Но обратим внимание и на мимоходом вроде бы помянутое обстоятельство — "в конечном счете". Автор этих стихов, неизменно откликаясь на красоту окружающего, абсолютно чужд прекраснодушия. Ее откровения о жизни — как стихотворные, так и прозаические — поражают не только ликующей чистотой и изначальной свежестью, но и житейской прозорливостью и социальной трезвостью. Сошлюсь хотя бы на молчавшие доселе в ее архиве строки рубежа 40-50-х годов, где дан редкостно точный диагноз состояния мира:

XX век
конца сороковых годов
стоял — наполнен до краев
свинцовой влагою трагедий,
хотя и кончилась война.

И в другом стихотворении той же поры выразился не менее проницательный взгляд на свою эпоху из того будущего, которое стало нашим сегодня:

И если взять конец XX столетья
и разломить его посередине,
не клеток нервные сцепленья
мы обнаружим в середине,
а металлических кристаллов
остроугольные сцепленья.

При внешней незамысловатости и кажущейся наивности поэзия Некрасовой обладает прочным нравственным стержнем: "Имей большое сердце, и ты поймешь величие полей, величие земли". Самые отвлеченные и общие понятия наполнены для поэта вполне реальным смыслом, и с не меньшей последовательностью частное, единичное сопрягается в ее стихах с принципиальным, основополагающим:

О! Какие тайны исцеленья
в себе скрывают русские поляны,
что, прикоснувшись к ним однажды,
ты примешь меч за них,
и примешь смерть,
и вновь восстанешь,
чтоб запечатлеть
тропинки эти
и леса,
и наше небо.

Свободные от всех литературных условностей, стихи Некрасовой очень искусны. Только в искусности этой нет и тени искусственности. Ее поэзия ориентирована не на совершенство технологии, а на совершенство души. Форма тут всецело обусловлена содержанием. И когда оно того требовало, привыкший

к абсолютной раскованности стих представал в безукоризненной ритмической четкости:

Запоет гармонь,
я взмахну платком,
небеса в глазах
голубым мотком.
А народ кругом
на меня глядит.
Голова моя
серебром блестит.

А вслушайтесь, как богата звуковая инструментовка ее произведений — она не только восполняет частое отсутствие традиционной рифмы, но и подтверждает насыщенную густоту и взаимосвязанность окружающего. Вот несколько цитат из одного стихотворения:

Как лоскут осени,
лиса
висит на кожаном ремне...

Живописная пластичность этого образа тонко поддержана звуковой пластикой. А далее:

И ели, как железные, стояли,
и хмель сучки переплетал.

Уподобляясь хмелю, повторяющиеся звукосочетания как бы между прочим и вместе с тем очень цепко обвивают собою строки, убеждая в точности наблюдения. И еще там же:

Лежал Урал на лапах золотых.

В самом звучании стиха зафиксирована державная мощь края, вырастившего Некрасову.

Простые по "внешности", ее стихи глубоки и сложны по чувству и мысли — благодаря как раз своей

версификационной выверенности. Пусть она не всегда читающим осознается, зато всегда ощущается. И здесь уместно, считаю, заметить, что нисколько обликом и неприкаянным образом существования не походившая на профессионального литератора (у мемуаристов в избытке тому свидетельств), эта, по выражению одного из современников, Золушка русской поэзии над стихами работала с истинно профессиональным упорством. Когда разбираешь ее архив, все эти школьные тетрадки, а то и просто случайно ей под руку подвернувшиеся листки бумаги, поражаешься количеству вариантов и отдельных строк, и целых стихотворений. Дарованные природой зоркость и цепкость глаза, чуткость слуха, отзывчивость и "воображение сердца" подтверждали себя в словах, отобранных с требовательностью и точностью Мастера.

Литературные чиновники, отвергавшие многие ее строки, часто ссылались на их "неотделанность", "сырость". Этим "людям литературы" хорошо ответил Н.Асеев. В заметке, сопровождавшей дебютную публикацию стихов Некрасовой («Октябрь», 1937, №3), он писал, что их сырость "есть сырость росы на деревьях, сырость взрыхленной земли, сырость морского ветра. Не бойтесь такой сырости..."

Эта книга выходит на родине Ксении Александровны Некрасовой. Все, кто причастен к выходу сборника, надеются, что многим читателям он откроет самобытнейший поэтический мир, а те любители стихов, кому имя Некрасовой уже не в новость, найдут в книге, полнее, чем предыдущие издания, вобравшей наследие поэта, немало страниц, способных обогатить представление о творчестве и личности художника, которым вправе гордится наша земля.

Леонид Быков



У МЕНЯ ЕСТЬ СТИХИ...

У МЕНЯ ЕСТЬ СТИХИ...

Ненадо плакать мой стих,
Тынденешь на плечи рюкзак,
Русскую палку в руки возмешь
И по дальним верстам дорог
Себя для людей понесешь..

РУССКАЯ ОСЕНЬ

За картошкой к бабушке
ходили мы.
Вышли, а на улице теплынь...
День, роняя лист осенний,
обнажая линии растений,
чистый и высокий,
встал перед людьми.
Всякий раз
я вижу эти травы,
ели эти
и стволы берез.
Почему смотреть не устаешь
миг,
и час,
и жизнь
одно и то же?..
О! Какие тайны исцеленья
в себе скрывают русские поляны,
что, прикоснувшись к ним однажды,
ты примешь меч за них,
и примешь смерть,
и вновь восстанешь,
чтоб запечатлеть
тропинки эти,
и леса,
и наше небо.

НОЧНОЕ

На земле,
как на старенькой крыше,
сложив темные крылья,
стояла лунная ночь.

Где-то скрипка тонко,
как биение крови,
без слов улетала с земли.
И падали в траву
со стуком яблоки.
И резко
вскрикивали
птицы в полусне.

Я полоскала небо в речке
и на новой лыковой веревке
развесила небо сушиться.
А потом мы овечьи шубы
с отцовской спины надели
и сели
        в телегу,
и с плугом
поехали в поле сеять.
Один ноги свесил с телеги
и взбалтывал воздух, как сливки,
а глаза другого глазели
в тележьи щели.
А колеса на оси,
как петушьи очи, вертелись.
Ну, а я посреди телеги,
как в деревянной сказке, сидела.

ИЗБА

В доме бабушки моей
печка русская — медведицей,
с ярко-красной душой —
помогает людям жить:
хлебы печь,
да щи варить,
да за печкой
и на печке
сказки милые таить.

РИСУНОК

Лежали пашни под снегами...
Казалось, детская рука
нарисовала избы углем
на гребне белого холма,
полоску узкую зари
от клюквы соком провела,
снега мерцаньем оживила
и тени синькой положила.

Босоногая роща
всплеснула руками
и разогнала грачей из гнезд.
И природа,
по последнему слову техники,
тонколиственные приборы
расставила у берез.
А прохожий сказал о них,
низко склоняясь:
“Тише, пожалуйста, —
это подснежники...”

* * *

А я недавно молоко пила —
козье —
под сочно-рыжей липой
в осенний полдень.
Огромный синий воздух
гудел под ударами солнца,
а под ногами шуршала трава,
а между землею
и небом — я,
и кружка моя молока,
да еще березовый стол —
стоит для моих стихов.

УТРЕННИЙ ЭТЮД

Каждое утро
к земле приближается солнце
и, привстав на цыпочки,
кладет лобастую обветренную
голову на горизонт,
и смотрит на нас —
или печально,
или восхищенно,
или торжественно.
И от его близости земля обретает слово.
И всякая тварь начинает слагать в звуки
восхищение души своей.
А не умеющее звучать
дымится синими туманами.
А солнечные лучи
начинаются с солнца
и на лугах оканчиваются травой.
Но счастливейшие из лучей,
коснувшись озер,
принимают образ болотных лягушек,
животных нежных и хрупких
и до того безобразных видом своим,
что вызывают в мыслях живущих
ломкое благоговение.

А лягушки и не догадываются,
что они родня солнцу,
и только глубоко веруют зорям,
зорям утренним и вечерним.
А еще бродят между трав, и осок,
и болотных лягушек
человеческие мальчишки.
И, как всякая поросль людская,
отличны они от зверей и птиц
воображением сердца.
И оттого-то и возникает в пространстве
между живущим и говорящим
и безначальная боль,
и бесконечное восхищение жизнью.

ШАХТЕРСКИЙ ПОСЕЛОК НА УРАЛЕ

На берегу
тишайшей Ирбитки
стоят шахтерские дома.
В одном, как в большинстве,
живет забойщик,
но из любви к ремеслам
он в отдых мастерит из дерева предмет:
он выточит его
и выкрасит
в растертый на олифе малахит
и на зеленый фон
птиц розовых посадит.
От этого и дом его отличен
от тех домов,
где занимаются слесарным мастерством
или цветы и овощи разводят.

УРАЛ

Лежало озеро с отбитыми краями...
Вокруг него березы трепетали,
и ели, как железные, стояли,
и хмель сучки переплетал.
Шел человек по берегу – из леса,
в больших болотных сапогах,
в дубленом буром кожухе,
и за плечами, на спине,
как лоскут осени —
                                        лиса
висит на кожаном ремне...

Я друга из окошка увидала,
простоволосая,
с крыльца к нему сбежала,
он целовал мне шею,
                                        плечи,
                                                    руки,
и мне казалося, что клен могучий
касается меня листами.
Мы долго на крыльце стояли.
Колебля хвойными крылами,
лежал Урал на лапах золотых.

Электростанции,
как гнезда хрусталей,
сияли гранями в долинах.
И птицами избы
на склонах сидят
и желтыми окнами
в воду глядят.

ОГНИ

Горностаевый вечер —
он накинул на серые плечи
снежную шкуру
с хвостами снежинок...
Все как в детстве.
Но я уже не буду
от стекол отцарапывать льдинок
и, калачиком ноги, сидеть на окне,
нос расплюснув в стекло.
За спиной в темноте
тени виснут в углах,
и, как баба-яга,
надо мною топорщится страх.
Из сугробов ползет тишина,
заползает в трубу,
и из печки глядит в темноту на меня
слепая ее башка.

Ровно в девять с шахт гудели гудки,
из-за белых готических елей
появлялися черные тени
и в сугробах играли вдогонки
золотые от ламп огоньки.

Да, огни...
Вот уже мне двадцать три!
И девчонка, и мысли ее
убежали назад...
А огни, как и прежде,
каждый вечер горят и горят...

МИХАИЛУ КУЛЬЧИЦКОМУ

Когда мы вырастем большие,
быть может, многие из нас
опустят бороды седые
и бросят юность сочинять —
все переменно,
и тогда
прочти мою
невыросшую речь.

19 октября 1940

МОЙ ИНСТИТУТ

Тверской бульвар...
Оленьими рогами
растут заснеженные тополя,
сад Герцена, засыпанный снегами;
за легкими пуховыми ветвями
желтеет старый дом,
и греют тлеющим огнем
зажженные большие стекла.
И я сама —
торжественность и тишина —
перед засвеченным стою окном:
в окне прошел
седеющий Асеев,
на нервном, как ковыль, лице
морские гавани
нестылых глаз
теплом нахлынули
на снежные покои.
Мы знаем вас,
друг молодости нашей,
чистосердечность вашего стиха
и бескорыстность светлую в поэзии.
Вот юноша, поэт,
и, словно раненая птица,

косой пробор
растрепанным крылом
на лоб задумчивый ложится.
Трагедию войны сокрыв,
по лестнице идет другой,
рассеянный и молчаливый,
он знает финские заливы,
мечтательный и верный воин
и грустный, как заря, певец.

Пуховый ветер над Москвой...
Но лебеди покинут белый дом,
последний крик
с плывущих облаков
прощальной песней
ляжет на крыльцо.

Январь 1941

1941 ГОД

Ночь, обезглазненная взрывами,
уставилась из стены,
до жути квадратнобокие
чернели ямы из глазниц.
И тек из разбитых углов
обнаженный, как кровь, кирпич.
А может, и нет
четвертой стены —
может,
это сама война
выставилась на нас двоих.
А в комнате мы:
я
да сын
месячный в колыбели.
А от стены к стене
простерлась пустота.
И ужас колыхал дома,
и обезумевшие стекла
со свистом прыгали из рам
и бились в пыль о тротуар,
истерикой стеклянной звеня.
И входит муж,
он в черной весь пыли.

И страшный скульптор
пальцами войны
из каменных пород
лик вылепил его.
Огромный лоб
с изломами тревог
повис над озером глазниц,
где мира нет.
Откосом скал
катился подбородок вниз,
и только
человечий рот
был обнажен и прост
пред волею судьбы.

— Что сын? —
и к сыну подошел.
На склоны лба
спокойствие легло.
И яснолунная склонилась тишина
над ликом сына и отца.

И стены успокоенно молчат,
и потолок повис над головами,
и тоненько звенят в стакане
осколки битого стекла.
И в этой ясности
стоял он долго-долго,
а может, миг,
единый миг.
Таким возьми

и рухнул —
и ясности нет.
В ясности буря чувств,
и тяжко от смертей глазам.
И пальцы
жмут изломанный мундштук,
и голос,
как чугунная доска,
от боли треснув
пополам:
— Взорвали шахты мы сейчас
и затопили их.

А площадь за окном
от взрывов бомб
вздымала волосы столбом,
и щупальцы, шурша в небесах,
прощупывали землю и сердца.

НЕ НАДО ПЛАКАТЬ, МОЙ СТИХ!

Не надо плакать,
        мой стих!
Ты наденешь на плечи рюкзак,
русскую палку в руку возьмешь, —
и по дальним верстам дорог
себя для людей понесешь.

Безгнездные,
мы растеряли стаи:
        мужья в боях,
        браты в боях,
        сыны в боях.
А мы, с грудными на руках,
от бомб
вдоль родины бежали
и зарывали счастье у дорог:
        и без цветов,
        и без крестов —
        и нету слез.
Осиновый кол
        в груди моей.

Мускулы крыльев ослабли,
пересекая вершину скорби,

мысли мои иссякли,
глаза слепы от боли,
бездеятельно виснут
руки по бокам,
а сердце, —
сердце что ж?
Все в синяках оно,
в ушибах горя.
Товарищи мои,
мои стихи,
дитя мое,
мое дитя
и молодость моя —
битюжным стоптаны копытом.

И будет
страшный суд
на поле брани.
Еще звенящий благовест мечей
не смолк,
еще зеркалится
невысохшая кровь,
а судьям ставят
красный трон
в судилище народов.
О, жизнь!
Как уберечь твое лицо,
что открывает мир?
Твой гордый лик,
железный взгляд
и беспощадный шаг?

В опорках стоптанных,
с мозольными руками,
с высоким лбом
и дерзкими глазами
идешь по полю брани —
без троп и
          без дорог —
к высокой цели.

1942

В ТЫЛУ

Идет война в России.
Мы жили в Сулюкте —
есть рудники такие,
вместилище вершин и облаков.

Приди, веселие, ко мне!
Куда я посажу тебя?
Давно не мою пола я,
а стульев нет,
а ящики в пыли,
и стол в пыли.
Одна кровать чиста
да снежная гора в окне.
Сядь, радость, на кровать,
я рассмотрю лицо твое —
и многое пойму
в моей печали.

У столбика привязанный осел,
как чаши мальв —
на корточках сидят узбечки,
и тут же очередь у хлебного окна.
Стоит шахтер-киргиз,
и грудь от горла до ремня

в раскрытом вороте обнажена, —
как медный чан,
красна она,
как жернов каменный, прочна.
Художник киевский стоит —
на фоне желтых гор
в замерзшем дождепаде
соцветием акаций
поникшее лицо,
а над лицом
великий буревал
немытых локонов
нестриженых волос.
Завернутый в одеяло
ты стоишь —
почти голяк,
полубосой.
И котелок из банки под рукой.
Еще лицо
схватил мой взгляд:
старик в дверях стоял —
и был одеждою он нищ
и счастьем наг.
Шахтерка с шахты подошла
и, скинув глыбину угля,
последней очередь за хлебом заняла —
на икрах тяжкие узлы
из вен и нервов и судьбы,
и слепками из черной глины
повисли комья одежины.
Еще тут граждане стояли —

неизъяснимые печали
на лицах влажностью лежали,
и с неба падала крупа.
А у окошка киргизята
босые прыгали кругом —
и вата лезла из халата,
из шапок хлопок вылетал,
и снег на лужах подстывал.
А на щеках — бутоны роз,
и на губах — бутоны роз,
и в каждом взгляде —
меж ресниц —
смешинки вывели птенцов.

1942-43

БЕЖЕНКА

Я именем
не нареку ее —
все имена
вместит она
в безыменьи своем.
Я не достану жемчуга
со дна озер
для глаз.
В орбиты каждый
вложит ей
любимый цвет
своих очей.
И тот, кто взглянет
ей в лицо,
в обрыв ее ресниц…

* * *

Да присохнет язык к гортани
у отрицающих восточное
гостеприимство!
И жило много нас
в тылу,
в огромной Азии,
в горах.

Как и все,
мы пошли в кишлак —
обменять остатки вещей
на пищу.
И лежала пыль
на одеждах наших...
Но ничего
не сумели сменять мы.

Хозяин-старик пригласил нас
пройти и сесть.
Мы пыль отряхнули
и вымыли руки —
и сели за яства.
И глыбой мрамора лежало
в пиале солнечной

овечье молоко,
урюк и яблоки дышали,
орехи грецкие трещали,
лепешки пресные
разламывал хозяин в угощение,
и пряно пахло
фруктами из сада
и медной утварью
осыпанной листвы.

Да присохнет язык к гортани
у отрицающих восточное гостеприимство!

Сидела я на каменных ступенях —
и олеандра
дугою изогнула стебель
на фоне грецкого ореха,
лист у которого
так пряно-вкусно пахнет.
Кругом цвели обильные цветы.
Полутеней, оттенков и теней
здесь не имеют яркие венцы,
и день кончается без тени,
и не сумерничают здесь.

Тверской бульвар
в день зимний, снежный
стоит передо мной
у раскаленных гор,
средь выжженных песков
и глиняных ущелий, —
все белый снег
да искристый мороз...
Мне травы тонкие на стеклах,
взращенные морозом изо льда,
приятнее для глаз
и сердцу ближе,

чем настоящие цветы
в тропических жарах.
Ах, север, север!
Здесь пряно,
пыльно,
душно,
от пестроты и яркости
болят глаза,
и так тоскливо —
по большим снегам, —
хоть горсточку бы
русского снежку
с московских улиц
вьюга принесла.

МАЛЬЧИК

Сандал —
это так просто:
посредине кибитки яма,
а над ямою низенький столик,
он покрыт одеялом,
похожим на тюльпанное поле.
В яму углей горячих насыпают,
под одеялом протянут ноги,
и сидят вокруг теплыни люди,
от работы дневной отдыхая.
А на стенах висят тарелки,
ярче неба в тарелках звезды,
и красивей луны пиалы
на уступчивых нишах стоят.
И синее морей одеяла,
и желтее пустынь одеяла,
разноцветней лугов одеяла
друг на друге лежат.
Но чудесней всего на свете
в глинобитной кибитке киргиза
                                        баранчук —
годовалый мальчик;
он в пухлом халате на вате,
азиатским платком подпоясан.

Перламутровых пуговок ряд
на спине у халата звездится,
и ястреба легкие перья
в тюбетейке пучком стоят.
Как огонь,
                    он древнее древних,
он киргизов гордый наследник,
он родитель людей нерожденных,
годовалый сидит у бабая,
и глазищи в косых разрезах
обливают потоком счастья
          мир и солнце,
                    себя и свет.

ГОРНЫЙ ФЕВРАЛЬ

Ах! Какие здесь луны
стоят в вечерах
и в ночах
в конце февраля,
когда на склонах — снега,
когда воздух, как раздавленный
плод,
по рукам,
по щекам,
по ресницам течет,
ароматом весны
прилипая к устам.
Ах!
Какие
голубые
огни
от луны
освещают холм
и котловину, грязную днем;
при луне она — голубой цветок
с лепестками зубчатых гор.
В сердцевине цветка — дома,
золотые тычинки
огней-фонарей,

и над всем — тишина, небеса,
голубые снега на горах.

В КОТЛОВИНЕ ХРЕБТА АЛАТАУ

Стихотворение,
возникшее от роз, неба и весны

Жил-был Саваоф на свете.
Люди его называют — Бог,
а по-моему, он —
прадед поэтов.
Был огромен, как небо, Бог,
и седина покрывала
виски и затылок его.
Реки соков
текли по мускулам рук и ног
и впадали голубыми руслами
в стволовидную шею его,
поднимая лицо,
как прозрачную гроздь.
В обширном молчании
шел по светилам поэт,
а сбоку земля моя —
над сугробами белого камня
тихо несла голубеющий свет,
лезвием горных вершин
отсекая утро и ночь.
Желтые ветви зорь
падали, золотом расписав
камни в дымчатых вечерах.
И ошеломленный поэт,

брови вверх приподняв углом, —
встал поперек пути
и, планету схватив за хребет,
положил ее между ног
и сел.
И камень,
что может другие камни строгать,
нашел среди гор поэт
и, отломив от хребта кусок,
сделал крупный резец себе.
И землю вертел в руках,
от видения нем
и богатством матери горд.
И долго сидел
над землей Саваоф,
высекая замысел свой.
А когда он руки свои
отделил от работ,
положив у ступни отупелый резец,
и встал —
тончайшей розой
из мраморных гор
лежала земля...

Так вот — без тревог и сомнений —
идет по земле
человеческий гений...

1944

ЧЕСНОК

Очень вкусен
горный чеснок
в мае.
И я пошла за ним
в горы.
На склонах лежали
знаменами маки.
Навстречу бежали
широколунные киргизята
с охапками красных тюльпанов.
Шли чинно,
рукой подперев на плечах
горизонты,
за водой к роднику
молодые киргизки.
Из-под шелковых шалей
на длинные косы
сыпали блики
пунцовые маки.
А на самой высокой вершине,
над смертью и жизнью,
стоял длинноухий,
стоял черноокий
осел,

упираясь
копытцами в камни.
И мне стало забавно.
Обычно душа моя
в тяжелое время
старалась забраться
поглубже внутрь сердца
и тихо сидеть там.
Но животное было
так тонко
очерчено умной природой,
так мудро
водило ушами
на фоне огромного
синего неба,
а чеснок
так едуч
и так сладок,
что миг этот чудный
осветил мои мысли
и мозг мой,
и все стало просто...

1944

ОСЕНЬ У СНЕГОВЫХ ВЕРШИН

Каждый день,
возвращаясь с обедом,
я мимо горы прохожу.
Удивляет она меня.
На вершине ее кишлак —
и ни заборов,
ни стен,
ни оград
вокруг его жилищ не стоит —
ни единого дерева нет,
ни куста,
и со всех горизонтов
дуют ветры, —
дрогнут на небе
серые тучи
и, лапы раскинув,
и пасти разинув,
и выгнув пластами
звериную спину,
рушатся с неба
на склоны горы,
кибитки киргизов
сглотнув на пути.
И когда на вершине хмарь —

в котловине у нас
дождь
или гроза,
или слякотно сеет крупа...
И думаю я:
как же выдержала высь?

АННЕ АХМАТОВОЙ

А я встала нынче
на рассвете...
Глянула —
а дом попался в сети
из зеленых черенков и почек
и из тонких,
словно тина, веток.
Обошла я все дома в квартале –
город весь
в тенетах трепетал.
Спрашивала я прохожих —
где же пряхи,
что сплетали сети?
На меня глядели с удивленьем
и в ответ таращили глаза.

Вы скворцов
доверчивей все, люди! —
Думаете, это листья?
Просто яблони
и просто груши?..

Вот проходит мимо
женщина
под рябью...
Голова седая,

а лицо как лепест,
а сама как стебель,
а глаза как серый
тучегонный ветер...
— Здравствуйте, поэт, —
сказала я учтиво.

Жаловалась Анна:
— А я встала рано
и в окно увидела цветы...
А в моем стакане
розы с прошлых весен —
все не сохли розы.
Из друзей никто мне
не принес весны.
Я сейчас с мальчишкой
здесь, на тротуаре,
из-за ветки вишни
чуть не подралась.
Все равно всю ветку
оборвет мальчишка...

И проходит дальше.
Голова седая,
а лицо как лепест,
а сама как стебель,
а глаза как серый
тучегонный ветер.
И ложатся под ноги ей тени
облачками...
Львами...
С гривами цветов...

1944

* * *

К моим дверям
спускался склон горы,
весь бурый
и колючий.
И тонкая ослиная дорога
из белой пыли
устремилась ввысь, —
то пряталась в тени,
то поднималась вновь,
лиловая от сени облаков...
Два башмака
стоят у нашего порога —
прекраснейшие из башмаков людских, —
пожалуй, больше б им пристало
названье: корабли,
так велики обширные носки,
и задники прочны,
и расстоянье меж бортами
просторно и удобно для ноги,
и шерсть козлиная легла на стельки.
И я сама в нехоженых краях
шла, не боясь,
за кожаными башмаками:
великолепно в них шагал тогда

мой милый друг.
О, мой возлюбленный
из молодости нашей!
И множество земель
мы вместе исходили,
и разные мы слышали языки,
и горе видели,
и победили горе,
и утренние радостные страны
ложились в красках на мои листы.

ПИСЬМО НЕОТПРАВЛЕННОЕ

Где же ты?
Сколько писем
писать еще?
И ответа, как благовеста,
ждать.
Ждать от тебя ответа?
Если бы сто рук
имела я,
все бы травы
я перебрала,
сосчитала бы пыль земли,
увидела бы очи твои.
Но, может, ты
не в траве лежишь?
Иль беркут склевал
глаза твои,
и синицы кудри
с твоей головы
на гнезда птенцам унесли?
Нет!
Это думы мои
черные по ночам.
Не коснется секира тебя,
не испепелит чужой огонь,

чернорукий фашист
не подымет ладонь
в золотое лицо твое!
Да охранит тебя от врага
большая любовь моя!
Дождь барабанит по крыше,
темная ночь за окном,
и опять пауками мысли
выползают из темных углов.
Господи,
был бы хоть ты!
Думы свои
я сожму в кулаки,
вырасту до небес.
И в величии слез пред людьми
свитки горя расстелю:
читайте, люди,
сердце мое —
зеркало ваших бед!
За окном редеет рассвет,
на гудок шахтеры идут.
Надо мне на смену идти.
Встаю.

В ГОСПИТАЛЕ

Стояла кровать
у большого неба...

Нежно, люди, касайтесь земли,
не шумите делами звуков
и слова не бросайте громко.
Этот час
будет бережно тихим.
Сядь тихонько
в траву у подушки,
мир, взъерошенный
бомбами, войнами,
мир, заляпанный
кровью по пояс.

Юноша в льдисто-
кристальной постели —
в наледи бинт —
в молчании синем
глазами сиял
у какой-то,
большей, чем бог,
человеческой цели.
Встанем молча,

склоняя колени
пред защитником
русской земли.
И сквозь стоны и раны
и огненный вскрик
мы почувствуем подвиг его.

Руки!
Опять эти руки
лезут в глаза:
белые пальцы,
как свечи зажженные,
лежат пятернями
в моих зрачках.
У нас в СССР
таких и нету,
холеных,
с фитилями красных ногтей.
Чьи они?
Чьи?
Были тревоги,
выли собаки,
люди с узлами
бежали во мраке,
ногами давя
о плиты и камни
звонкие всхлипы
ребячьих слез.
Прожекторы светы
вздымали столбами берез
и мощно крестили

распятьем Россию,
и небо,
и землю,
и страшную ночь.
Поля покачнулись,
шатнулись за облако
шваброю леса —
и сгинули в тучах.
Огромные смерти
со стеклянными лбами
торжественно плыли
на жестких крылах.
Пощады не ждал я,
и красных перчаток
горящую пачку
я кинул в глазницы
стального врага.
Смерть глянула косо
и клич приняла.
И в мертвой петле
задохнулась луна.
Шатался враг,
качался я.
И,боем яростно дыша,
шаталась птица —
на крылах —
моя.
Но нет патронов у меня,
и пулемет умолк.
И вдруг — не я,
а мозг —

схватил
с кружащей высоты
две обнаженных пятерни.
И я забыл,
что я живу,
что бездна надо мной,
что жить могу,
я видел руки —
и войну.
Я видел родину мою.
И врезался винт
моего истребителя
смерти в плечо,
алюминий кроша.
Руки,
опять эти руки
давят глаза.
Красные когти,
как факелы пламени,
торчат из мотора
в моих зрачках...

Стояла кровать
у большого неба...

Сядь тихонько
в траву у подушки,
мир, взъерошенный
войнами, бойнями,
мир, заляпанный
кровью по пояс.

Только взор мой
да ты,
да вселенная
трав и растений
встанет молча,
склоняя колени
пред защитником
русской земли.
И сквозь раны
почувствуем сердце его —
любовь, как сдвинутое
небо,
к нам приближает пламень
звезд.

СЕВЕРНЫЙ ВОКЗАЛ

Я приходила вечерами
с вокзала
к северным перронам
и, как сограждане мои,
в высоких залах
поезда ждала.
Я у стены стою:
напротив толпы
слушающих пенье,
как эти залы, мы
с неповторимой росписью
единого двадцатилетия.
Но солнечность картин —
под копотью трагедий,
и на одеждах зальных,
как на пальто у нас,
фанерные заплаты на стенах.
Бледное лицо
и в серых кольцах глаза,
а бас Шаляпина
из воздуха воздвиг
звучанье давних битв.
И щит славян
на цареградском камне

рукою русского прибит,
и толпы слушают,
пред звуком чувства обнажив.
А я,
как нищая
пред собором вниманий,
за подаяньем сердца
протягиваю ладони.

1944

Я примирилась с вами,
асфальтовые улицы.
Пред бетонными этажами
смирилась я, —
а разве так надо?
Надо забыть
восшествие жизни
до половины небес,
а на другой половине —
последней —
в себе уничтожить первую.
Оставить за спиной
ручьи недель,
текущие средь трав, —
где папоротник
в банановые пальмы
перерождается в очах,
когда сидишь на дне ручья
и к пальцам ног
от берега
сплываются рыбешки.
Оставить за спиной
и не глядеть назад —

там сын у меня на руках —
Тарас.
И сад...
О! Этот сад, —
чернеют ямы,
да коренья
распластаны из ям торчат.
И яблонь нет,
и вишен нет,
и сына нет,
и в сердце даже корня нет —
все уголь, уголь,
да зола,
да разбомбленная земля.

Я примирилась с вами,
асфальтовые улицы,
и пред бетонными этажами
смирилась я,
и город приняла в себя,
чтоб снова быть.
Я благодарна людям,
что их так много,
что вновь могу
средь них найти себе друзей.
И равнодушные потоки
переулков
вливают человечьи зыби
в массивы теплых площадей.

1945

* * *

...*И* тише, генералы и адмиралы,
пробуйте ваши бомбы,
ваши запаянные в сталь Везувии!
Вы мешаете думать,
как вырастить лучше
высокие кроны,
и прочие корни,
и нежные чаши
на тонких стеблях.

* * *

Стоит на печи горшок.
Пчелиный тает воск в горшке
для смазывания воском ран
на грушевых стволах,
и яблонях,
и вишнях.
А у печи сидит солдат...
Еще пыль не сошла с сапог,
еще пот не обсох с дорог,
и шинель от спины до полы
пахнет порохом от войны,
и глядит из его зрачков
боль разбомбленных городов.
Лежит лучина на столе,
пучки кудельки —
на ведре.
Он на лучину вьет пучки,
приготовляя помазки.

Он мог бы молотами бить,
железо сверлами сверлить,
но две ноги,
одна рука —
и опечалена судьба.

И отворачивает взгляд
от бабьей утвари солдат.
Солдат встает
и, дверь раскрыв,
садится на порог.

Лежат колхозные поля
в прозрачности пространств
весенних —
и величавы и спокойны,
как мысль огромного народа
в очарованье мастерства.
Еще поля не засевали,
еще сады не зацветали,
еще на вспаханной земле,
как струны, борозды лежали,
и ветер пашни задевал,
и звук от пашни отлетал.

Солдат в безмолвии сидел,
на родину свою глядел.
Глядел на родину солдат —
и от огромной красоты
солдат душою потеплел.
Трава шуршала у сапог:
"Солдат с войны вернулся жив!"
И ветки вторили берез:
"Пришел здоров!
Пришел здоров!"
Сучок сучку передавал:

“Врага изгнал!
Врага изгнал!”
И шелестел поток вершин:
“Он мир принес!
Он мир принес!”
И, с воском взяв горшок, пошел
залечивать он раны на стволах —
на грушевых стволах
и на вишневых тоже.

* * *

Что ты ищешь, мой стих,
преклоняя колени
у холмов погребальных?
Для чего эти листья осины
у тебя в домотканом
подоле лежат?

О поэт!
Это ж слезы,
и плачи,
и вопли
я собрал на могиле
у наших солдат.
Ты возьми их —
и сделай весну.
Слышишь, аисты
крыльями бьют
на семи голубых холмах?

На синем, синем краю —
гарбузовым цветком земли
раскрываются солнца лучи,
как оранжевый шар,
как тычина в лучах,
в желтых, тыквенных лепестках.

Вскинешь к солнцу ладонь,
а в ладони — душа.
Нет,
не душа,
не весна,
а любовь!

* * *

Мир дому сему —
говорит приходящий в семью,
приветствуя миром живущих,
и люди людям,
как хлеб и соль на блюде,
несут тишину к жилищам.
И приходит в сады и комнаты
большая, как небо, радость
оттого, что людские головы
больше не косит пулеметная очередь.

ДЕНЬ

С утра я целый день стирала,
а в полдень вышла за порог
к колодцу за водой.
От долгого стояния в наклон
чуть-чуть покалывало поясницу
и руки от движенья вдоль
ломило от ладоней до плеча.

А в улице лежала тишина,
такая тишина,
что звук слетающих снежинок
был слышен гаммой,
как будто неумелою рукою
проигрывает малое дитя:
слетают до и ля
и звездочками покрывают землю.

Напротив домики
в снегурочных снегах стояли,
и опадающие листья
казалися
как полушубки в заячьих мехах.
И ягоды краснеющей рябины
одел в чепцы холстиновые
иней.

В средине улицы
косматая собака
валялась на снегу,
уставив в небо нос.

Я цепь к ведру
веревкой привязала
и стала медленно
спускать валек.

И надо всем стояла тишина.

1946

* * *

Лежат намятыми плодами
снега февральские у ног.
Колоть дрова
привыкла я:
топор блестящий занесешь
над гулким белым чурбаком,
на пень поставленным ребром,
        удар! —
и звук, как от струны.
Звенит топор о чурбаки,
и, как литые чугуны,
звенят поленья, и мороз,
        и мой топор,
        и взмах,
        и вздох.

Лежат намятыми плодами
снега февральские у ног,
и утро с синими следами
по небу облаком плывет.

1946

* * *

И когда я от долгой дороги
присела на камень,
положив на пенек
карандаш и бумагу,
я увидела город фиалок.

Вздымали стебли, словно сваи,
над мхом резные терема
с одним окошком посредине,
и ярко-желтая кайма
легла лучом вокруг окна,
на фиолетовых стенах
стелясь округлыми коврами...

1947

В ЧАС МЕТЕЛЬЩИЦЫ

К утру на улицах
пусто и тихо
и город без толп и звучаний
домами похож
на каких-то детенышей кротких,
а это так потому,
что огромные зданья
вместили в себя
сны человечьи
и от снов
приняли облик
бурых и серых медведей.

И стоят у ворот
в фартуках лунно-молочных,
в козьих платках,
в шерстяных носках
на толстых ногах
с пышными метлами
в жестких руках
метельщицы.

И не гляди,
что в грубошерстных носках они

и от лучей и воды
руки красны.
Метлами пыль снимают они
с ресниц уснувшей Москвы.
И такая метла осторожно
        меня обошла.
И сказала метельщица басом:
“Перестань слезы тереть”.
И, за руку взяв,
метельщица меня повела
к себе в дом.

В предутрии, ухо прижав к Москве,
выслушивают поэты сердце города.
И краски воздушного цвета
снимает дерзко с рассвета
живописец встающих картин.

У метельщицы в подвале
я осталась ночевать, —
в ту пору я писала о цветах —
и синие думы,
как утренний снег,
дымились в словах моих.
Проснулась ночью, —
лампочка в потолке...
Стоит у стены кровать, —
под красным одеялом
старуха сидит:
в кофте зеленой,
в заплатанном платке,
руки, как бурые корни женьшеня,
лежат на красном одеяле.
— Бабушка, —
говорю я, —
а цветы похожи на ребят,
но ребята с возрастом грубеют,
а цветы остаются как были,
и не потому ли люди смотрят долго
в чашечки цветов, о детстве вспоминая?

Утром
я в мятежности вставала:

ночью что́
метельщице наговорила,
где в стихах ей белых разбираться,
просмеет с подружками меня,
скажет, ненормальная пришла.
Но
вошла тут с улицы старуха,
и в руках у ней букет —
солнечных, желтеющих шаров, —
по-крестьянски сжатый в кулаке.
— Вот тебе, —
метельщица сказала, —
за твои хорошие слова.
Я взяла цветы —
из глаз слеза упала...
Это новое —
решила я.

* * *

Отходит равнодушие от сердца,
когда посмотришь на березовые
листья,
что почку открывают
в середине мая.
К младенчеству весны
с любовью припадая,
ты голову к ветвям склоняешь,
и в этот миг
походит на рассвет —
бурею битое,
грозою мытое,
жаждой опаленное
твое лицо,
мой современник нежный.

* * *

Луна,
как маятника диск,
чуть колебалась над землей,
и степь лежала, как ладонь
натруженной земли.
Посредине степи — костер,
во все стороны — тишина,
и, спиной прислонясь
к небесам,
сидят парни вокруг огня...

* * *

Дела наши, что сделаны нами, —
огромного роста.
Липа и кедр городам по колено,
а ладони у нас, как кленовые листья,
тонки и малы, —
на ладонь не уместишь кирпич.
И вот у таких-то
слабых и хрупких,
не вырастающих и до половины дерева,
из-под рук поднимаются многоэтажные
здания,
протягиваются километровые мосты.
И пальцы,
умеющие отделять лепестки цветов,
рассекают каменные горы.

Я иду со станции в колхоз...
Белая стоит зима...
На березовых ручьях
птички красные сидят.
И вдруг —
в овчинной на сборках шубе,
в холостяных обшитых рукавицах,
снег взметая подолом юбки,
выступила навстречу мне
женщина из-за берез,
и я сказала “Здравствуйте!” ей,
и она сказала “Здравствуйте!” мне.
— Ходила за рассадой я в теплицы,
да зря, видать...
А вы чьи будете?
— Я? Я из Москвы. —
И тишина упала между нами.
В молчанье мы до птичника дошли, —
вдоль окон куры восседали,
и в красных фесках головы склоняли
задумчивые петухи.
— Капусты новый сорт
выращиваю я, —
сказала спутница моя.

На перекрестке трех троп дороги
разошлись.
— Счастливо вам дойти! —
колхозница простилась
и в сторону свою пошла.
Шел белый снег
на синие равнины.

УТРЕННИЙ АВТОБУС

Люблю я утренние лица
людей, идущих на работу, —
черты их вычерчены резко,
холодной вымыты водою.

Садятся рабочие люди в автобус.
Еще не бранятся
на мягких сиденьях
гражданки в шляпах модных и перьях,
и потому
в автобусе нашем
доверчиво-тихо.
Почти все пассажиры
читают газеты.
Проходит автобус
вдоль Красной Пресни...
Уборщица входит
с лицом сухощавым,
в синем халате
и красном платочке.
Парень в спецовке учтиво встает,
место свое уступая женщине.
А рядом сидят два маляра.

Старший маляр –
спокоен и важен.
Глаза у него как сталь строги.
С ним сидит ученик молодой,
навсегда удивленный Москвой.
А раннее утро уходит вдаль...
Автобус полон народу.
Моя остановка.
И я схожу.
Идет Москва на работу.

* * *

Утром рабочие ходят по улицам,
а ленивые телом
спят в четырех стенах,
и, конечно,
великолепие зорь
достается рабочим.

УЛИЦА

Волнует улица меня
неуловимою идеей,
которую назвать я не умею,
лишь стать частицей улицы могу.
Пойдем вдвоем,
читатель милый,
по вечереющей Москве
и с улицей смешаем цвет
одежд своих,
восторженность весны
с толпою разделив...

Давай присядем здесь —
в тени листвы —
и будем лица проходящих
читать, как лучшие стихи.

И город встал,
касаясь облаков,
одетый в камень
и украшен медью.
И в окнах зори отражались.
И вальсы, как грядущее, звучали,
и синими огнями загорались

вечерние рекламы на фасадах.
И на безлиственных сучках
цвел чашечками розовый миндаль...
И множество детей,
как первые цветы,
лежали на простынках белых
и в первый раз глядели в небеса.

Вон
детский врач идет
с улыбкой Джиоконды,
дано ей травами младенцев мыть,
и солнцем вытирать,
и воздухом лечить.

Еще вон женщина прошла,
шелками стянута она,
как гусеница майского жука,
и серьги с красными камнями
висят, как люстры, под ушами,
и от безделья кисти рук
черты разумные теряют.

Две ножки в пестрых босоножках
девчонку дерзкую несли
с глазами яркими, как всплески,
на платье — яблоня в цвету.

Навстречу ей
студенты шли,
веселья звучного полны,

с умом колючим за очками
и просто с синими глазами...

Взволнованных мечтаний
город полн...
Он вечно улицами молод
и переулками бессмертно стар.

* * *

Здоровенные парни
мостят мостовую.
Солнце их палит лучами,
шеи медью покрывает,
ветер пылью овевает
чуть насмешливые лица.

А девчонки у машин,
вея желтые пески,
словно камешки роняют
проголосные стихи:

"Мастер наш, Иван Петрович,
носит давнюю мечту:
голубыми тротуарами
асфальтировать Москву".

А старый мастер,
могуч да широк,
грудь как колокол,
в белой рубахе,
сидит на коленях посреди
мостовой,
камень к камню в ряды кладет,

как ткач шелка,
мостовую ткет.

Долго я стою перед ними, —
вижу в них я корни всходов
будущих культур и музык.

ПОД МОСКВОЙ

Сердитоглазые официантки,
роняя колкие слова,
подавали кушанья
на красно-желтых подносах
желающим пить и есть.
Ощущались медвежьи аппетиты
у сезонников за столом,
большеруких
и грубоЛицых.
Много ездили,
много видели,
города построили для людей, —
барахла не нажили,
да ума
прибавили.
Идут по жизни мужики,
одаряя встречных-поперечных
жемчугами русской речи
от щедрот немереной души.

Пил высокий, чернобровый,
плечи как сажень,
галстук новый,
пиджак новый,
при часах ремень.

А другой был ростом ниже,
но в кости широк
и, как всякий лесоруб,
красен на лицо.
На щеках — ветров ожог,
на висках — зимы налет.

А старушка-выпивушка
у стола сидит
и умильно и сердечно
на друзей глядит.
В кружке с пивом у нее
огоньки горят,
а на беленьком платочке
пятаки лежат.

И на окнах занавески
вышиты руками —
белой ниткой по батисту
льдистыми цветами...

А кругом народ ядреный
утверждает жизнь —
щи с бараниной хлебает,
смачно пивом запивает,
белым хлебом заедает.

КОНЕЦ ДНЯ

Между двух гор
ставили дом машины.
Стояли женщины
на строящихся стенах,
и клали кирпичи,
и возвышали цех.

Склонялся час к шести,
и медленно кирпичный брус
сошел с ладони,
движеньем затихающим
оканчивая день.

И ослабели сухожилья,
натянутые в локтевых изгибах,
звенящие от подниманья бревен,
от напряженья сдвинутых вещей...

И отделились руки от труда,
и матерьялы встали по местам,
и принял звук работ
обличие предметов.

1947

ЧАША В СКВЕРЕ

Меж стволов березовых у сквера
возвышалась мраморная чаша;
листья виноградные из камня
чаши милованье обвивали.
И девчонка в ватной душегрейке,
в яркой, как зарницы, юбке,
протирала тряпкою холщовой
каменные гроздья по бокам.
Мрамор для нее —
                    не камень бессердечный.
Девушка фасады лицевала
мрамором на Ленинских горах.
И еще в свои семнадцать весен
наблюдала изморозь на окнах
и рисунки трав на огородах,
острых елей тонкие черты.
И сейчас, рассматривая чашу,
вдруг вплетенный в мраморные стебли
цвет укропа каменный находит,
высеченный четко и красиво.
Рос укроп на огородах буйно;
раньше ей и в мысль не приходило,
чтобы будничный укроп на грубом камне

восхищал людей
тончайшею резьбою.
Так, смывая пыль на высечках и гранях
и разглядывая каменные травы,
для себя она негаданно постигла
единенье жизни и искусства.
Прошлогодний лист из чаши выметает
и водою наливает чашу,
и от влаги оживает мрамор
и сквозит прожилками из недр.

И с обветренными девушка руками,
в ссадинах от ветра и воды,
в алой юбке,
пред зарей вечерней,
с легкими, как пламень, волосами
и с глазами, полными раздумья,
тихо перед вазою стоит,
вытирая пальцы о холстину.

И в такой вот час и возникает
светлое желанье стать ученым
или зодчим, мудрым и суровым,
чтобы все, что видишь, все, что понял,
от себя народу передать.

Когда неверие ко мне приходит,
стихи мои
мне кажутся плохими,
тускнеет зоркость глаза моего, —
тогда с колен
я сбрасываю доску,
что заменяет письменный мне стол,
и собирать поэзию иду
вдоль улиц громких.

Я не касаюсь проходящих,
что ходят в обтекаемых пальто
походкой чванной, —
лица у них надменны,
разрезы рта на лезвие похожи
и в глазах бесчувственность лежит.
Не интересней ли
с метельщицей заговорить?..

* * *

Как мне писать мои стихи?
Бумаги лист так мал.
А судьбы разрослись
в надширие небес.
Как уместить на четвертушке небо?

Угодно было солнцу
                    и земле —
из желтых листьев
                    и росы
сверчка, поющего стихом,
на свет произвести.

Ст. Щипачеву

Вы прячете доброе сердце
в застегнутый наглухо
черный пиджак, —
и вдруг при взгляде на стихи
чуть розовеет бледное лицо,
так при огне просвечивает
алым
задумчивое
зимнее
окно.

День у меня
как петушиные одежды —
золотисто-синий хвост,
и белых два крыла,
и красный гребень у чела.
День потому
наряден так,
что каждый мой
свершающийся шаг
осеняет учитель особый, —
одетый в одежды
из листьев чудесных.

Вздымался кедр
передо мной,
касаяся медвежьей головой
плывущих туч
над хвойною землей.

Я каждый день
сидела перед ним.
И удивлялась
древесине,
что, не ломаясь, возникала.

На столе открытый лист бумаги,
чистый, как нетронутая совесть.
Что-то запишу я
в памяти моей?..
Почему-то первыми на ум
идут печали.
Но проходят и уходят беды,
а в конечном счете остается
солнце, утверждающее жизнь.

МОИ СТИХИ

Мои стихи...
Они добры и к травам.
Они хотят хорошего домам.
И кланяются первыми при встрече
с людьми рабочими.

Мои стихи...
Они стоят учениками
перед поэзией полей,
когда сограждане мои
идут в поля,
ведут машины.
И слышит стих мой,
как корни в почве
собирают влагу
и как восходят над землею
от корневищ могучие стволы.

* * *

Слова мои —
как корневища.
А мысль —
как почвы перегной.
Как сделать мне,
чтоб корневище ствол дало
и кончиками веток зацвело?..

* * *

О мой талант,
дай силу мне
мой тяжкий труд
окончить до предела.
Не отнимай всепокоряющую кисть,
дай искренность в словах,
дай правду жесткую в чертах
людей, и подвигов,
что выну из души.

* * *

Имею ль право
я совет держать —
сама лишь лепечу
несложными словами,
о клены истин
разбивая лоб.
Но мы должны
указывать пути сердцам —
Поэты мы,
и время с веком
обвенчало нас.

* * *

Год рухнул
под пятой младенца.
Цепляясь за столы и стулья,
мальчишка на ступень вторую
встал.
А первой не было.
Тускнел от времени провал,
младенец рос.

В этот год
весну не обнимали,
люди людям
соловьиными ночами
не раскрывали в радости сердец.
Весну поставили к стенке,
даже глаз больших и опечаленных
весне платком не завязали.
"Братцы!
Бейте пулей в очи синие!
Не до девок нам, не до любви".
И шаталось время от стрельбы.
Громыхала по хребту России
батогом гражданская война,
и зияли впадинами шахты,
словно след громадного коня.

ВОЖДЬ

"Главное на земле — Люди!" —
сказал Ленин
и положил в изголовие
Вечность.

* * *

XX век
конца сороковых годов
стоял — налитый до краев
свинцовой влагою трагедий,
хотя и кончилась война*.

** Это стихотворение, как и следующее, в рукописи перечеркнуто.*

* * *

И если взять конец XX столетия
и разломить его посередине,
не клеток нервные сплетенья
мы обнаружим в сердцевине,
а металлических кристаллов
остроугольные сцепленья.

Попробуй душу отомкни,
хотя ровесники мои,
как гейзер теплоты,
старинное искусство почитают.
Век девятнадцатый,
в заостренных шипах
как ветвь багряных роз,
к портрету Ленина вплетают.
Но само поколение мое
созданием подобного бедно.
Быть может, непосредственность души
обильем воли заглушили.

* * *

Мир расколот на две тыквенных корки —
и поэтограда в них не найти.
Нету поэту и места
среди семечковой родни.

* * *

В толпе,
весною осененный,
прошел нарядный гражданин —
весь цвета стали,
сам блондин,
лицо с капканьими зубами,
а вместо глаз —
хорьки сидят,
и из ресниц, как из травы, —
косятся в сторону поживы.

МОЕ ПАЛЬТО

Мое пальто!
Все собираюсь я
твой внешний вид
прославить перед миром
в наш многотрудный,
многодумный век.
Но не к лицу теперь
стихами облачаться, —
все о куске,
о хлебе
думают народы.
Душа и бог
преобразованы в желудок, —
что в нас лежит
и требует почтенья.
Мое пальто!
Твои седые петли
и воротник, в морщинах от тревог,
и плечи, сникшие
от тяжкого раздумья,
все горести мои
с тобой, мое пальто.

Мы оба так нелепы
и смешны
среди желудочных молитв и баснопений,
и больно мне слепое отношенье
к твоим полам,
к твоим локтям,
мое пальто.

* * *

Посвящается критикам
в Переделкине

Сидят вороны на пеньке:
коробочками мака
на дымчатых зобах
две серых головы
таинственно шуршат,
таращится в оранжевых кругах
вороний глаз —
вороньи тайны в нем лежат.
И заглянула я в зрачки
и вдруг — очки
взглянули на меня,
седые волосы в кружок
и отложной воротничок.

1947

ОБРАЩЕНИЕ К МУЗЕ

Что ты, Муза,
все ходишь за мной
и поешь мне в уши
стародавние ритмы.
Видишь —
Москва отвергла ямбы,
кирпичи сменила на металлы,
новые пронзительные песни,
словно нити,
вдернула в сердца.

* * *

Прекрасное мы чувствуем
по облику времен:
если бы Девятую симфонию
Бетховена
вычертить в чертежах,
она бы уподобилось утру
на улице Горького, —
и линии углов или колонн,
протянутые ввысь,
ты ощутишь,
как струн скользящий ряд.
Чуть прикоснись рукой —
и тихий звон
раздастся над землей...

* * *

И заметила луна:
каждый вечер у окна
молча девочка сидит,
на нее — луну — глядит.

От внимания такого
зарумянилась луна:
“Что за милый человечек
из открытого окна
в небо смотрит на меня,
вы заметили, звезда?”

В удивлении звезда...

Нет к нему
ни дорог, ни шоссе,
но ты отдал себя стихам —
и иди.
Будут душу
дожди мочить,
станут душу
молнии бить,
нет в пути
ни машин, ни крыш.
Вот и дом
посреди Москвы.
Печатают валенки
следьями пол,
и овчинный на мне кожух
груб, неуклюж.
И мне стыдно следьев моих
на зеркальном полу,
и швейцаров стыдно до слез.
Но множество мною
пройдено зал —
я, и это отринув,
иду.

И опять —
преградою на пути
не рукам,
не ногам,
а мыслям моим
и понятьям моим —
над последней ступенью в зал
мрамор стоит без одежд
в откровении белых линий –
творец ее
похитил у природы
изгибы вольные стеблей
и колыхание ветвей,
непринужденные поклоны
отягощенного цветка
на хрупкость тонкого плеча.
Я не привык так явно и открыто
смотреть на очертанья человечьи.
Но где пределы
торжествующих восхищений
пред телом моим и вашим?
И зеркало отразило
молодого поэта,
впервые идущего в Дом писателя.
Это ничего,
что лицо у поэта как степь...
Веруешь, что слова твои
высушат наговоры зла
и добро принесут стихи,
что поэмы людям, как хлеб

в голодающий день, нужны,
что ты голод насытишь их.
Если веруешь — так садись,
оставайся тут и живи!

* * *

Дом, в котором я живу,
полутерем,
полудом.
И ступень одним концом
погрузилась в прах времен.
На ступени меж расселин
фиолетовый лишайник.
И растет вокруг поляна,
и колодец между трав.
Звездным небом у колодца
бочки полные стоят.

А я
приезжаю из Москвы
усталая.
Никак не привыкну
к бетонам,
асфальтам.
А здесь под ногами
и стебли, и травы.
По скошенным травам
шла я недавно
и вдруг разглядела,
до этого раза

была как слепая
и мимо ходила.
А кто-то
до страшности щедрый
полотна созданий оставил:
одуванчика лист,
мысообразный и бледно-зеленый,
лежал на трехлистнике
темно-зеленого клевера.
И от дикой моркови
перисто-хрупкие листья
чуть колыхались
на фоне желто-огнистой ромашки.

ПРО МОРОЗ

А ночью север в бревна дул.
Лицо скуластое надув,
в свистульку губу подтянув,
дудил в чердачных желобах,
шуршал под окнами в снегах,
колыша блики на стенах,
метелью снов
колебля мой покой.
А утром я,
открыв глаза,
вздохнула в синий полумрак
и увидала —
изо рта
птенцы пуховые летят,
и, отдалясь от уст,
они тончали в оперении
и, не откидывая тени,
тонули медленно в углах.

И, вынув руки из одежд,
я пальцем тронула рассвет
и стужей руку обожгла...

1947

* * *

Люблю засохшие цветы
в осенний вечер в вазе тонкой,
когда в пылающей печи
поленья щелкают со звоном…
Все это выдумка одна:
и вазы нет,
и нет огня
да и квартиры у меня.

Слегка
лукаво-добродушна,
чуть-чуть растрепана толпою,
в одеждах ярких и нарядных
проходит улица пред мною.

Отряхни ноги у порога
и войдем в горницу весны —
уважая листья и цветы,
снимем кепки с головы.

СЛЕПОЙ

По тротуару идет слепой,
а кругом – деревья в цвету.
Рукой ощущает он
форму резных ветвей.
Вот акации мелкий лист,
у каштана литая зыбь.
И цветы, как иголки звезд,
касаются рук его.
Тише, строчки мои,
не шумите в стихах:
человек постигает лицо вещей.
Если очи взяла война –
ладони глядят его,
десять зрачков на пальцах его,
и огромный мир впереди.

Поэт ходил ногами по земле,
а головою прикасался к небу.
Была душа поэта словно полдень,
и все лицо заполнили глаза.

* * *

Я знаю:
в доме вещь
от долгого житья
с хозяевами рядом
приобретает нрав
хозяйки милой
иль делается желтой и ребристой
в мозолистой хозяина руке.

Не ради барыша
ученики и мастера
из дерева торжественных пород
точили стулья и столы
и каждый стул,
как живопись, несли.
Ковали медные горшки.
Изображенья четкие листвы
чеканили по краешкам сосуда.
А то животных вырезали
резцом по дереву на стульях и столах.

Недаром вещи в сказках говорят
на человечьих языках.

СКАЗКА О ВОДЕ

О! Этот странный источник
между двух гор
с бараньими лбами!..
Под нависшими камнями колодца
сидят желтые тюльпаны
и косятся на меня
черными, колючими зрачками,
высматривая мои следы.

Распустив за плечи
сумерки кос,
к роднику за водой подошла
в красном платье киргизка
и, наполнив кувшин,
ушла...
И запахло тончайшей свежестью
цветущих миндальных деревьев,
и от гор отделились тени
с голубыми лицами из воздушных волн.

И тогда,
капли стряхнув
от струи родниковой,
у колодца женщина явилась вновь,

в белом вся,
и над бледным лбом большая чалма,
полумесяцы глаз под чалмой.
Женщина вынула
из колодца воду
и свернула ее,
как блестящий с коконов шелк;
подходящий взяла сучок
и к нему подвязала ручей, как куделю,
и, воткнув в расселину скал,
села прясть у колодца воду.

— Ты кто? —
крикнула я,
пятясь за камень. —
Разве воду прядут?!

— Я спряду и совью в жгуты
воду всю из моего колодца,
и не высохнут струи в жару,
не расплещутся капли по ветру.
Я желания в нити вплету:
я хочу, чтоб
гроздья винограда,
словно солнце, соками светились,
я хочу,
чтобы яблоки смеялись,
чтобы сны о звездах
снились людям.
Чтобы земля жила веселее

и чтоб мысли горели ярко
и дела великие вершились!..

О! Этот тихий источник
между двух гор
с бараньими лбами!

* * *

Любит мое поколение
птиц острокрылых,
и поляны, и рощи,
и венцы на цветках
среди листьев зеленых.
С этих растений, наверное,
зодчие древние
брали рисунок, когда строили
Спасскую башню.
А зубцам на кремлевской стене
форму ласточкина хвоста
дали старые мастера...

В строении Блаженного собора
все повторяется горшок,
рисованный багрянцем.
А из горшка росток,
и впра́во лист на черенке,
а посредине на стебле
алеет луковый цветок.

УРАЛЬСКИЕ КАМНЕРЕЗЫ

Есть камни,
скалы, горы.
Они таят в себе узоры
из яркокрасочных веществ.
И, камень распилив,
ладони мастер-камнерез
снимает с камня,
открывая срез.
Волнующее море перед нами
наполнено зелеными волнами,
челнок на вздыбленных валах
и косо чайка в небесах.

Так мастер глазом угадал
средь глыбы яшмы
каменный рисунок.
Я зависти полна нетленной
к талантам русских мастеров.

ЛЮБА

У женщины русской
свое отношение к травам:
девчонкам они заменяют
игрушки,
а девушки наши
венки и короны
сплетают из листьев зеленых.
А матери
моют и лечат
травою ребенка.
А мудрые бабки
целебность корней травяных
постигают.

А моя современница Люба
рисовала цветы на фарфоре.
Пять лепестков
у незабудки голубые;
и в каждом лепестке —
из синего черта́
и солнце желтое
на донышке цветка,
и в каждом солнце
точка из багрянца.

И сердцем листья
травяного цвета
на золотистых стеблях.
И, может,
            взгляд тоскующий
на дальней на чужбине
посланник наш
или матрос
на травы русские на чайнике
уронит за вечерним чаем —
и вот прихлынет к сердцу странника
родины прекрасное лицо.

1957

Р.Ф.

Сколько рождений
дано человеку,
а сколько прожито лет!
Каждый год
рождается вновь —
из весны,
из травы,
из небес человек.
И нет насыщения жизнью,
и хоть сто раз
на земле живи:
утоления нет рукам,
наглядения нет глазам.
В Замоскворечье живет
живописец.
Роскошнейшие убранства
от купола
до половиц
неостывающими светилами
мерцают из тихих рам.
А в комнате нет ковра,
сосновый в комнате пол,
и стул один,

и кресло одно,
и железная печка
в своем уголке
как вздохнет,
и падает оранжевый цветок
из золотистой гортани
                                        на пол,
на вещи темные
роняя лепестки.
И отгадки бытия
стоят, прислонясь к стене, —
рисунком внутрь
и холстом на свет.
Люблю в пристанище я это
                                                        заходить,
под крышей этой
забываю я
и горести, и странности мои.
Сходились юноши сюда
с неуспокоенной душою,
седые женщины
с девичьими глазами
и убеленные снегами
художники,
постигшие и страны, и моря.
Но жизнь, как в молодости
                                        тайной,
вся нераскрытием полна.
Вот Азия стоит на полотне:
день пройденный и заключенный в раму.

А поперек небес
коричневый, безлиственный
сучок
и белые цветы
на узловатых сгибах.
И всюду тишина,
и синева,
и воздуха стеклянные отливы,
И все – от неба до земли
и от людей до птиц —
все жить и жить
для голубых глубин,
для взлета дум
в нетленные теченья.
Картину унесли.
Но веянье весны
еще касалось лиц.
В Замоскворечье живет
живописец.
Этаж на этаж,
и еще раз этаж,
и чердак,
и в крыше окно.
А в стенах нету окна,
и плывет, и плывет звезда
с небес к стеклу
чердака.

1954

* * *

Есть третий глаз —
всевидящее око, —
им скульптор награжден,
художник и поэт:
он ловит то,
что прячется за свет
и в тайниках живет
не названное словом...

ПЛАТЬЕ

Мне подарили
бархатное платье.
А раньше
два только платья
было у меня:
льняного полотна
и шерстяное.
Мне подарили бархатное платье.
Я тут же
и примерила его
и в зеркало увидела себя.
Средь отраженного окна
гранитный высился дворец,
пушистый звук
серебряных снегов,
в замерзших окнах
люстры тлели,
росли березы у стены.
И чудно было сочетанье:
я в платье бархатном,
дворец
и белый снег
в ветвях и на земле.

Такой казалась я себе
нарядной!
И с этим чувством
шла я
по Москве,
И все идущие
навстречу мне
несли на обновленных лицах
светинку радости моей.
И что-то мне
хотелось людям дать —
добро ли совершить
иль написать стихи.

МОЯ КОМНАТА

Куда-то все плывут, плывут
продольные дожди
перед окном моим.
А на столе – цветы,
как млечные созвездья,
да стул один,
да рукопись в углу —
мои стихи
иль я сама —
одно и то же,
только форма разная. —
И все,
и больше ничего,
да сор еще
цветочный на полу.

РАЗГОВОР СО СТОЛОМ

Мой стол,
мой нежный
деревянный друг,
все ты молчишь,
из года в год стоишь
в таинственном углу.
О чем молчишь?
Чьих рук тепло ты бережешь?
Раскрой дарохраненье лет!

Молчание плывет в ответ.
Лишь черт резной
на выгнутой ноге стола
скрипит:
— Ах, сердце человечье
так беспечно.
Вещь не доверит
таинства ему.
Предмета суть
есть совершенство мозга.
А сердце —
        сердце что ж — цветок,
само взойдет,
само цветет,

само завянет и уйдет.
А вещь без старости жива
и без младенчества ясна.
И не расспрашивай стола,
коль ты поэт...

Белые розы
увяли в стаканах,
лунные блики
лежат на столе.
И я, рукою касаясь резьбы,
говорю:
мой стол,
мой мудрый друг,
прости, пожалуйста, меня!

В МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ

Дымились сумерки в карнизах,
и незасвеченные луны,
чуть голубея,
колебались
на электрических столбах.
Теплом асфальт отягощенный
подошвы ног подогревал,
а по бокам
дома стояли –
сплошным хребтом
без окон и дверей –
еще огней не зажигали.

И в получас
сближения теней
вершины улицы моей
откинули на землю
полутени,
освобождая очертанья
гигантских крыш
и труб
и купола церквей.

И проникало небо
в бойницы и бреши
и обводило синью
башни и шпили,
вычерчивая дерзость человечью,
возвышенную в зданиях
до неба.
И каждого надежда осеняла.

1947

УТРО

Выходят из зданий
рабочие люди,
одетые прочно:
в брезенты и сукна,
в сапогах на гвоздях
с инструментом в руках.
И от лиц после сна
веет влажностью трав.

* * *

Мятежность дум
проходит от березовых листьев,
что потеряли почку в середине мая,
от очертания ветвей,
струящихся с коричневых сучков,
как тонкие дожди.
И с мысли пыль стирают
хрупкие цветы,
что вновь из трубочек
выходят в прошлогодних хвоях...

1947

* * *

Под вечер солнце соками земными
из рек дымящихся
и радужных озер
досыта напилось,
и, бражности не выдержав земной,
оно шатнулось раз, другой
и село, вытянув лучи,
на край приятнейшей земли.

Встретила я куст сирени в саду.
Как угодно он рос из земли,
простодушно раскинув листы.
И, как голых детей,
поднимал он цветы,
обнажений своих не стыдясь.
В чем же, думала я,
сила этих кружков,
по ребячьим рисункам
рожденных землей,
и наивных соцветий,
и смешных лепестков?
Почему мудрецов,
пастушат и поэтов
так волнуют
на палочках крестики эти?
Многое люди
постигли на свете,
и умеют многое делать они.
Но нет силы у нас
передать лик цветка.
И мы молча стоим
и глядим,
и ворочаем думы свои.

Твоей руки
коснулась я,
и зацвела сирень...
Боярышник в сквере
Большого театра
цветами покрыл шипы.
Кратчайший миг,
а весна на весь мир,
и люди прекрасней ветвей
идут, идут,
излучая любовь,
что в сердце зажглась в моем...

И жгучие стволы берез,
похожие на стержни молний,
вонзались разветвленно в небо,
и в землю тоже разветвленье шло.

7 октября 1953

СУДЬБА

Люди рождаются —
и идут по нехоженой целине,
каждый среди судеб
прорубает дорогу себе, —
и двое рождаются тоже,
а между ними море лежит,
иль стена пролегла,
иль город —
        этаж на этаж стоит;
а эти не знают друг друга, —
каждый в своей тропе
идет дорогами мира,
не ведая о судьбе.
И вдруг — поворот,
        и город,
        и море,
        и степь в стороне, —
две дороги на повороте
пролегли в одной колее.
И встретились двое вместе,
и легче обоим дышать,
и легче дорогу к счастью
средь множества троп искать.

Иль просто вечером тихим
в теплой сиреневой мгле
сидеть где-нибудь на дороге
и руку держать в руке.

* * *

Когда стоишь ты рядом,
я богатею сердцем,
я делаюсь добрей
для всех людей на свете,
я вижу днем —
на небе синем — звезды,
мне жаль ногой
коснуться листьев желтых,
я становлюсь, как воздух,
светлее и нарядней.
А ты стоишь и смотришь,
и я совсем не знаю:
ты любишь или нет.

МОРЕ

Море требует, чтоб на него смотрели.
И когда ты в молчании постоишь —
поглядишь на него,
море разрешит полюбить себя
и останется в сердце твоем навечно.

* * *

Стерегитесь глядеть в пучину цветка —
на дне сизых чаш
лежит золотой глаз
неутоленной весны.

* * *

Две звезды целовались в небе, —
поцелуи падали на землю.
Древняя земля теряла дряхлость,
покрыв себя дыханием влюбленных.

* * *

И цветет рябина
горьким белым цветом
у окна покинутой жены.
На ветвях рябины
почему-то птицы
гнезд не вьют весенних,
песен колыбельных
не свистят в листве...
И стоит рябина
вся в цветах горючих,
белыми букетами
украшая ветви,
тонкая, высокая,
грому непокорная,
пред лицом соседей
горечь одиночества
пряча у корней.

* * *

Глядите, люди, —
девка пред солдатом
средь бела дня,
насмешек не стыдясь,
стоит в тени розовых акаций
и стриженую голову его
все гладит, гладит
легкою рукою...

* * *

Утверждаются на земле
любовь и камень.
Люди делают из мрамора
вещи,
изображая в камне себя,
сохраняя в форме
движения сердца.
Камень — это стоящее время,
а любовь — мгновение сердца,
время в камне.

* * *

Я сижу
          перед белой бумагой
и слова из нержавеющего сплава,
словно глину,
                    мну в черновиках.
Свечка оплыла и поседела,
над окном звезда сгорела...
Чья-то дружба с жизнью порвалась.

1956

* * *

Жизнь ты моя,
жизнь,
все состариться норовишь.
Погодила бы сечь лицо,
погулять бы еще в молодых...

* * *

Нет! Зеркало не льстец,
правдивее поклонников оно,
мой милый,
мой домашний друг,
я скоро подойду к тебе,
и ты, не улыбаясь, отразишь
седую голову мою.

Белая беда, —
поседела голова,
сердце в пламени сгорело,
в дым иссохла кровь моя.
Становлюсь старухой я.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ МЕСЯЧНОМУ СЫНУ

Мальчик очень маленький,
мальчик очень слабенький —
дорогая деточка,
золотая веточка!
Трепетные рученьки
к голове закинуты,
в две широких стороны
словно крылья вскинуты.
Дорогая деточка,
золотая веточка!

СКАЗКА

Вы, читатель, право, не стесняйтесь,
чувствуйте себя как дома.
С вашей стороны чудесно,
что в такой метельный вечер
навестить зашли
угрюмого поэта.
Проходите и садитесь к печке.
А чтоб вой трубы
не беспокоил сердце,
я вам сказку расскажу сейчас.

Вот на нашем белом свете
жил-был Вечер с бородою,
в вязаном жилете.
Только как погаснет свет,
так встает с земли седой
одноглазый дед.
А другого глаза — нет.
Этот глаз, как медный таз,
висит на небе один —
называется луной.
Вот такой
знакомый мой!

Раз мы с Вечером вдвоем
поздно по лесу идем.
Видим — дом.
Говорит мне Вечер тихо:

— В большеглазом этом доме
все писатели живут.
Сказки леса стерегут.
Как поймают —
так и в книжку
и в обложку на задвижку!
Сказка в клетке тут как тут,
спрячут, в город увезут. —
И мы с Вечером в печали.
головами покачали.
Не сказали мы и слова —
перед нами Сказка снова
очутилась в зипуне
на зеленом пне.
Ну, так вот:
все мы трое —
Я да Сказка,
Синий Вечер с бородою —
расспросили у Ворот
тайную дорогу,
к Мишке чай пить все пошли
в теплую берлогу.
Оглянулась я назад —
все писатели сидят.
К Сказке тянутся руками
и капканами стучат.

* * *

Цвели липы…
Бледно-зеленые цветы
роняли желтую пыльцу,
мечтательность
у юных вызывая
и у седых — воспоминание о прошлом.

* * *

По внешности ты как подснежник
с неразвернувшимся венцом,
покрыт он колкими листами,
чтоб мороз секущими ветрами
не заморозил лепестков:
ты с угловатыми плечами
и с нервно-резкими руками,
с лицом, закрытым изнутри
от дерзкой юности своей.

Шла по Пушкинскому скверу, —
вокруг каждая травинка цвела.
Увидала юношу и девушку —
В юности лица у людей бывают
как цветы,
и каждое поколение
ощущает юность свою
как новость...

* * *

И стоит под кленами скамейка,
на скамье, небес не замечая,
юноша, как тонкий дождик,
пальцы милой женщины руками,
словно струны, тихо задевает.
А в ладонях у нее сирени,
у плеча кружевная пена,
и средь тишайших ресниц
обетованная земля, —
на прозрачных лугах
ни забот, ни тревог, —
одно сердце поет
в берестяной рожок
о свершенной любви.

1

Радио тонко поет на углу —
тропинкой скрипка
по мыслям тянется.
Сидит за столом сержант,
еще мальчишеская хрупкость
не отлетела с легких плеч.
Полусклоненное лицо
раздумьем мягким и обширным
от губ до лба освещено,
и, как осколки от луча,
алеют канты на плечах.
А у стола —
в теткиной душегрее
с рукавами до половиц,
голова,
как в платке кулич,
и видать из платка
лоб да глаза,
да улыбка еще видна.
А скрипка живет
у самого неба —
недосягаемо высоко,

и тянется сердце
за тоненьким звуком,
но не может, безглазое,
двери найти.
Иль от тихости комнаты славной,
или от милых звучаний
у парнишки от пальцев
по узкой спине
голубые бегут ручьи, —
разливаются синью в глазах,
и в прозрачных висках
родники выбираются вверх.
И даже сама душегрея теткина,
преобразясь на тоненьких руках,
как в чистейший праздник,
из звуков высоких
крыльями вычертила рукава.
У сержанта раздумье ушло с лица
и решение,сузив зрачки,
замкнулось в тонких губах,
как в грань листа...
Он безнадзорных список взял,
взял красный карандаш,
и равнодушие людей
и жесткость голую ночей
перечеркнул косым крестом,
и красным надпись написал:
"Направить в школу —
Гнесиных".

2

И снова сидит
у стола сержант...
Сухощавая строгость
на скулах видна,
и зрачок в острие штыка
суживает глаза,
и в уголках рта
добрейшая улыбка
мелькнет ковыльной струей,
и опять тишина на лице.
Перед ним девчонка стоит,
чуть скуластая на лицо.
С округлого лба назад
волос зачесан гладко,
из опушки густых ресниц
черный умнейший глаз
по-птичьи глядит на вас.
Пред сержантом лежит альбом
сочнейшей раскраски —
был он девчонкой сотворен
из упаковочной бумаги.
И утверждался на листе,
как солнце палевое, Пушкин.
Из глин цветных
так вылепляет русский
своих славян богатырей,
их красит огненною краской
и золотит одежды их,
потом внутри жилищ своих

их на комод старинный ставит.
И Пушкин в пестряди цветной
был как герой прекрасной сказки.

В солдатской кофте на плечах
девчонка, голову подняв,
сказала басом у стола:
"На героиню я
приехала учиться!"
И сжался рот
в рябиновый плод
на дерзостном лице, —
она не скажет про себя,
как без билета, затаясь,
она запряталась под лавку
и скрылась с контролерских глаз...
А сержант и без слов
понял ее беду,
и, бережно касаяся листов,
девчонки он закрыл альбом, —
и стало добрым строгое лицо.
— Есть хочешь, девонька? —
сказал сержант
и встал.

За дверью кто-то ложками бренчал...
Был воздух хлебом напоен.

Северный вокзал
1950

Было скрипачу семнадцать весен.
И, касаясь воздуха смычком,
юноша дорогой струн
выводил весну
навстречу людям.
И была весна изумлена,
что пред нею —
тоненькой и ломкой —
люди, умудренные делами,
затаив дыхание, сидят,
что глаза у них
от звуков потеплели,
губы стали ярче и добрей
и большие руки на коленях,
словно думы,
в тишине лежат.

ВОКЗАЛ

Мешки, отсвечивая ткацкою основой,
наполненные девичьим приданым,
накопленным на торфоразработках,
лежат, как идолы
у мраморных скамеек.
Чуть приоткрыв оранжевые рты,
на скамьях тихо, рядом,
одетые в стеженые пальтушки,
мордовки юные сидят...
И солдат
в ожидании своего эшелона
какую-то до слез знакомую мелодию,
прижав баян к груди,
выводит медленно в тиши.
И сидит, как каменная баба
посреди заката на холме,
большелицая,
прямоспинная,
с балалайкой в каменной руке
средних лет мордовка на мешке.
И, следя глазами за баяном,
шевелит губами в такт она.
Под рукою тоненькие струны
вторят
вдохновению солдата,..

* * *

Сгущались сумерки в садах,
и небо
синее, как папиросная бумага,
натянутое на обруч горизонта,
на яблоневый снежный цвет
бросало тень...

Ах, эти яблони в цвету
у белых хат...
их ветви в лепестках
напоминают мне Урал,
засыпанный сугробами,
увязнувший в снегах.

Да, был вечер.
Без слов, без звуков.
Лежала дума на челе
спокойной тишины.
О чем?

Не надо слов.
Имей большое сердце,
и ты поймешь величие полей,
величие земли.

Косились в сторону
из окон огоньки,
и в их лучах,
как слезы ребятишек,
роняли ветви наземь
свои вишневые цветы.

1952

НАШ ДВОР

На небе тишь,
а под небом ночь...
Во дворе у нас тень и свет.
И окна, как пчелы на черных стенах,
блестят позолотой стеклянных крыльев.

* * *

О лес!
Опять я у твоих корней.
Склонясь
разглядываю травы.
И без раздумья —
все оставив —
иду по тропам
средь весны,
и ощущения мои
повисли надо мной шатрами
зелено-пепельной листвы...

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР В 1952 ГОДУ

Подмосковье

Под вечер солнце —
соком налилось,
И, сладость накопив,
на край земли скатилось
и, падая, расплющилось о твердь.
И сок, коснувшись трав,
вдруг засиял на травяных пучках.
И желто-медный лист,
наполненный зарей,
слетел с берез.
Я по асфальту тихо шла.
Земля была — как чай,
заваренный на липе, —
на цвет густа
и воздухом вкусна.
Необычайное прикосновенье недр
почти на ощупь ощущала я,
где окончания корней
волокнами частицы оплетают,
под почвой в соки растворяют
и дерзко глину превращают
в багряные плоды.
Вокруг стояли зданья
с крышами цветными.

Туман, чуть тронутый зарею,
где достигал трубы,
а где свисал с ветвей
полупрозрачной сединою.
Здесь люди жить должны,
как созреванье лета — хороши.
И отрицать нельзя,
хотя на вид
        сограждане суровы,
еще косноязычны сердцем мы
и много чувств
        не названо словами
и каждый из людей,
        живущих здесь,
проносит жизни часть
средь общества в молчании,
боясь неточностью речей
коснуться счастья иль страданий.
Но мне близки характеры людей,
как близок труд корней
и как понятно трав цветенье
и как плоды по осени с деревьев
все тяготеют зрелостью к земле.

Лежали листья на шоссе —
как слова несоставленных песен.
И деревья оплетали тени.
И тени ветвей на земле —
как извилины мозга темнели.

В ЛЕСНОЙ СТОРОЖКЕ

Там, где кончается небо и начинается край земли, изба из необхватных лиственниц подпирает склоненную синь.

Выглаженные ливнями до стекла, битые грозами дочерна, блестели бревна, как зеркала, голубым отсвечивая на углах и зеленым после дождя. И вот тут-то между концом и началом — уважаемый земно — проживал мой хозяин с лицом богописным. Был он в возрасте древнем — лесник, и действительно ситцевый красный рукав до локтя обнажал плоскобокую поручень ладоней, и кулак, как тесак, золотился в веснушчатой коже. Ученым печка русская медведем на задних лапах села у стола, Анисья Павловна у печки: есть ситцевый характер, а шелковый слывет добром; а бархатный — такой встречаешь редко, а у Анисьи старой нрав был холстяной. Вещам, деньгам старуха знала цену, недаром руки треснули в работе, как булки в перетопленной печи. Под желтым лбом из-под платка чуть опустились полукружьем седые веки на глаза. Вот Анисья открыла печку и из печки достала лист, пироги аржаные в нем испеклись. Жила капуста в пирогах, изрубленная мелко. И с конопляным маслом лук капусте дал обширный вкус. И от жары в печи возник в росных туманах огород, на грядах запахи растений, качанье луковых голов. А тесто родом от земли — его железная руда с наземом пашен зачала и вечным небом напоила. Пирог старуха отломила и деду подала. Дед пригубил из блюдца чаю, чайным паром обдав чело. И запахло бумажным розаном над чаепитным столом.

* * *

Стояла белая зима,
дыханием снегов
весну напоминая.
Игольчатый снежок
роняли облака.
И, белые поляны разделяя,
река, как нефть,
не замерзая,
текла в пологих берегах.

КОЛЬЦО

Я очень хотела
иметь кольцо,
но мало на перстень металла,
тогда я бураны,
снега и метель
решила расплавить
в весенний ручей
и выковать обруч кольца из ручья, —
кусок бирюзовый
московской весны
я вставила камнем в кольцо.
В нем синее небо
и дно голубое,
от мраморных зданий
туманы скользят.
Огни светофора
цветными лучами
прорезали площадь
в глубинные грани,
и ветви деревьев
от множества галок,
как пальмы резные,
средь сквера стоят.
Спаяла кольцо я,
надела я перстень,
надела, а снять не хочу.

И густо снег летел из туч...
И вдруг зари багровый луч
поверхность мглистую задел —
сугроб в тиши зарозовел,
старинным серебром отяжелели
на бурых бревнах
шапки крыш,
и небеса, как васильки,
вдруг синим цветом зацвели,
и мощные стволы
вздымались из снегов,
пронзая прутьями сучков
оплыв сияющих сосулек.
И восхищенный взор мой ликовал,
и удивлений дивный трепет
чуть-чуть покалывал виски, —
и плакать можно,
и писать стихи.

Вон крестики сорочьих лап,
как вышивки девичьи на холстах...

И предо мной предстал народ,
рожденный в ярости метелей

и от младенческих мгновений
и до белеющих седин
живущий чуткой красотою.

Храните Родину мою!
Ее берез не забывайте,
ее снегов не покидайте.

* * *

Из года в год
хожу я по земле,
и за зимой зима
проходит под ногами,
и день за днем гляжу на снег
и наглядеться не могу снегами...
Вот и сейчас
на черностволье лип
снег синей молнией возник.

О, сердце у людей, живущих здесь,
должно оно любезным быть
от этих зим.
Прозрачным быть оно должно,
и совесть, белую, как снег,
нести в себе.

Шел белый снег
на белые поляны,
и молнии мерцали на ветвях...

АНКА

От весны до осени
выгоняла Анка
птиц на просеки —
возле речки голубой.

А лицо у Аннушки в веснушках,
и косица как фасольный ус,
и глаза у ней, как синие синицы,
округлясь, разглядывают мир.

А вожак гусиной стаи,
белый, чинный,
клюв горбом,
шею вытянет копьем,
глаз на солнышко скосит
и гусям, стоящим чинно,
что-то с гоготом и длинно
в упоенье говорит.

И девчонка с хворостинкой,
в серой кофте, босиком,
на гусиное семейство
с восхищением глядит.
Пух над речкою летит.
На осоке пух сидит.

Между хвойных елей
и округлых кедров
солнце прошагало на закат,
и уселось на краю земли —
и как два
                    пылающих крыла
протянуло медные березы, —
в небесах себя не уронив.

* * *

Ели недвижны,
и небо недвижно,
и снег на деревьях
лежит неподвижно.
И только змеится
заснеженный воздух
струеньем снежинок
с высот на подножье.

* * *

Холмы лежали под снегами,
как будто детская рука
углем по синим небесам
цепочки изб нарисовала,
и солнце опускалось за стволы,
и лес рассеивал лучи,
ручей в снегу не замерзал
и все, как голубь, ворковал.

* * *

А земля наша прекрасна.
И, может быть, одинока
среди пламенных солнц
и каменно-голых планет.
И вероятней всего,
что сами мы —
еще не выросшие боги,
живущие под воздухом целебным
на нашей зеленой
и сочной земле.

Люди,
а люди!
Знаете ли вы
русскую песню,
когда сердце ее
облегла тоска
и бытия бесконечная степь
изрезана дорогами неудач?
И в грусти несказанной,
неизмеренной,
неисхоженной
сидит русский
и поет свою песню...

Но если душа твоя
с птичий носок,
а мысли твои
с вершок,
если жизнь
как нора ужа —
не видать тебе
песни лица.

А видели ли вы,
когда гневы идут
по сердцу ее?
В шлемах свинцовых,
в сапогах, в подковах,
на железных конях,
в ременных крестах
несут гневы
русские кары
в стальном штыке,
в большом кулаке,
в меткой пуле,
в заряженном дуле.
Идут гневы русские
без дорог проторенных,
без тропинок сеченых
по степям душ наших.

Но если душа твоя
с птичий носок,
а мысли твои с вершок,
если жизнь как нора ужа —
не видать тебе
песни лица.

А восхищались ли вы,
когда русской песне
море по колено?

...Запоет гармонь,
я взмахну платком,

небеса в глазах
голубым мотком.
А народ кругом
на меня глядит.
Голова моя
серебром блестит.

О СЕБЕ В БУДУЩЕМ

Будет холм надо мной,
как над всеми...
Хорошо бы
на краю села
крестик небольшой
в ногах поставить
в честь того,
что русская была.

О СЕБЕ

Я долго жить должна —
я часть Руси.
Ручьи сосновых смол —
в моей крови.
Пчелиной брагой из рожка
поили прадеды меня.
Подружки милых лет,
как оленята из тайги,
водили по лугам меня
неизъяснимой красоты.
И шелест буйных трав
мой возвышал язык.



ЖИЗНЬ ТЫ МОЯ, ЖИЗНЬ...

ЖИЗНЬ ТЫ МОЯ, ЖИЗНЬ...

Я поэт Ксения Некрсова прошу
Призидиум м.п. дать мне жилище
Кнгу стихов я сделала - и она уже ~~в типографи~~
и принята в издательство сов.п. и сейчас
и в типографии, скоро выдет
нас на свете живет трое Стихи, мои милыи
сын Кирюшинька и я сама.
и нужно нам жит всем вместе,
и нетрзатья в одельности

ДОЖДИНЫ

Из начатого

* * *

Я все оставила для слова —
преображенного в стихи.

* * *

И прежде чем
начать поэму,
я слово каждое должна
перекалить на пламени воображения
и счистить шлак
холодностью ума,
дабы нетленная прозрачность
в словах светлела, как роса.

* * *

Проходящие люди, как звезды, —
таинственны своим незнакомством.

* * *

Каждое поколение
ощущает юность свою как новость.

* * *

Улица — как идущее время.

* * *

У северян в глазах отточенная воля
и резкое разграниченье отношений
к добру и злу,
а середины нет.

* * *

А Русские — они
талантливы землею...

НАДПИСИ НА МОЕЙ КНИГЕ*

М.Луконину

Мечтательный и дерзкий воин
и грустный — как зоря — поэт.

С.Кирсанову

Дай бог найти вам —
утоленье собственного дара.

Ляле Казакевич

Не растеряй души высокой
в низинах длинного пути.

Ф.Фоломину

Душа твоя — орел,
поэт, но выхода ей к свету нет.

---

* *Дарственные надписи на книге "Ночь на баштане". М., 1955.*

М.Алигер

И Маргарита Алигер,
как бледный стебелек,
с лицом, похожим на цветы,
на тоненьких ногах
аллеей проходила.

С.Галкину

Старому и мудрому еврейскому поэту
с неотцветающим лицом.

А.Софронову

Больше путешественнику и страннику,
нежели поэту.

С.Смирнову

Товарищ,
не теряй звенящей юности
и перья из стихов не растеряй —
лететь поэту с журавлями
в бессмертный край.

О СЕБЕ

Бывают у человека два рождения. Первое рождение — это когда появляется человек из утробы матери, и второе рождение — это когда человек начинает ощущать вокруг себя мир и вещи.

Обыкновенно второе рождение происходит самое раннее в два года, а более позднее — в четыре, в пять лет.

Первое рождение человек не помнит, во втором начинает все понимать и ощущать мир.

Я открыла глаза и увидела небо. Я не знала еще, что это небо. Огромный воздух, наполненный синевой, был, как "великий немой", без единого звука. Может быть, и не надо было слов, потому что я еще не понимала человеческой речи, но голубое пространство, теплое и мягкое, прикоснулось ко мне своей поверхностью, и от этого прикосновения мне было очень хорошо и радостно — что вот я дышу и ощущаю его горячее (приятное) прикосновение.

А до этого, как я узнала после, когда выросла, у меня болели отчего-то глаза и все тело. И бинтовали, и лечили меня. Каждый день сдирали марлю с моих глаз и причиняли мне тем невыносимую боль.

А это мгновение, о котором я говорила выше, было в то утро, когда врач снял повязки с моих глаз и сказал, что я буду жить. Так я впервые познакомилась с первым предметом на земле — НЕБОМ.

Детство мое прошло великолепно на шахтах в системе Егоршинских каменных копей, между Ирбитом и Шадринском, около деревни Ирбитские Вершины. По одну сторону — село Елкино, по другую — росла я без нянек и гувернанток на полной свободе.

Отец — горный инженер — был взят на войну (1-ю империалистическую). Мать дома оставалась, и я ходила куда хотела, то есть в огород, в сад, в лес с товарищами.

Огород — это была таинственная местность, где жили разные враги, с которыми можно было сражаться, прежде чем добраться до грядок с морковью, горохом и репой. Мы брали длинные палки. Кто-нибудь изображал из себя Ермака, а остальные — войско. Так мы ходили покорять крапиву, лопух и репу. Когда в огород поставили пугало, то все наполнилось

таинственными тенями, звуками... И тогда мы стали говорить шепотом, двигаясь друг за другом на цыпочках, боясь спугнуть кого-то или разбудить.

Огород наш зарос по колено травой, цветами, маками, коноплей, запах которой, вот уже сколько лет прошло, я помню.

А за огородом был лес. Огромные стволы лежали поваленные от времени и обросшие лишайником и мхом. И даже на осинах, на этих поваленных деревьях, росли незабудки. Когда нога ступала на листья, на траву, то проваливались мы по колено — так был стар лес. Очень мне нравились березовые рощи, смешанные с кустарником, потому что там больше цветов, чем в сосняке или пихтовнике.

В лесу мы не играли, а только шли, шепотом переговариваясь о леших, старичках-лесовичках, которые присутствуют под корнями и под пнями. Много родников у нас было с прозрачной холодной водой, очень вкусной.

Веснами мы пили березовку, которую собирали в бутылки, подвязанные к березе, чтобы стекал сок. Ходили также в сосновый бор, где снимали с деревьев кору и брали соки, напоминавшие студень. Он был вкусен и пах медом, и сосной, и смолой.

Особенно хороши были у нас весенние разливы, когда река Исеть выходила из берегов и сливалась с другой рекой в глубокое море. А жили мы на горке, и вода не доходила до нас. Умываться ходили к разливу и видели, как солнце всходит прямо из воды. Иногда на льдинах проплывали корыта, свиньи, коровы, телята — плыли и плыли...

Ранней весной мы любили ходить за подснежниками на увалы. Обыкновенно кругом лежал снег и между снегом — маленькие проталинки, а на этих проталинках росли подснежники, как чашечки из пяти

лепестков, донышко золотое, на стебле меховые рожки. Любили мышиный горошек; он ничем не пахнул.

А еще всегда поражала ранней весной земля на пашне. Черная, из-под снега, земля напоминала мне какую-то драгоценную материю — лучше, чем бархат.

В ТЫЛУ

Наброски пережитых впечатлений

Происходил жестокий отбор: сильные духом выживали, слабые духом, но здоровые телом — гибли.

Как?

Тыл имел три цели в 1942-43-44 годах, достижение коих подавляло все остальное. 1-е — уголь, уголь и еще раз уголь.

В это главное входили две остальные: хлеб и фронт.

Хлеб — чтобы производить добычу угля. Фронт — сознание, для чего так страшно и напряженно добывать уголь.

Если ты носишь профессию, не нужную этим трем причинам, спрячь ее в себя, убери на время и возьми новую (нужную для угля, хлеба и фронта). Но если у тебя нет сил откинуть светлое прошлое и одеть спецовку настоящего, тогда уйди, куда хочешь. Нам некогда заниматься с тобой. Мы не замечаем тебя. В силу необходимости мы безразличны к тебе.

* * *

А я не работала — необозримое горе утопило мои руки и беспрестанно ноющая печаль не давала мне покоя, и я не могла сидеть на месте и ходила из доиа в дом, из квартиры в квартиру, не в силах сосредоточить себя в каком-нибудь деле. Я ходила по шахтам в

черном длиннейшем пальто, старом, подпоясанная веревкой, в шахтерских огромных чунях, привязанных шнурками, с палкой в руке, забывая и день и ночь, в полном равнодушии к собственному жилью.

И люди давали мне кусочки хлеба или тарелку супу или каши, и я принимала и была благодарна. Иной раз я заходила в юрты киргизов и меня сажали на почетное место и угощали. И однажды киргизская женщина, угостив меня лепешкой и котыком, заплакала и подала мне письмо от сына, который был убит на фронте, а я ей тоже объяснила, что у меня тоже погиб сын, и мы вместе плакали.

Так я стояла на половицах человеческого несчастья, но у меня были мои глаза, мои уши, и еще тлела во мне искра Божия моих стихов и я не забывала о них — я все видела и все слышала. И крыша темного горя не покрывала моей головы. И я кланяюсь в ноги моей судьбе — этому суровому учителю тех, кто хочет понять, что такое наша земля и кто такие наши люди.

27–29 июня 1945.

ПИСЬМО ДОРОГОМУ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ ОТ ПОЭТА КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ*

В 1935 году, окончив техникум политпросвета, я работала на заводе тяжелого машиностроения им. Орджоникидзе на Урале культурно-массовым работником и писала стихи. Я пришла на завод, когда на месте завода стоял лес. Люди расчищали площадку для будущих строений и жили еще в саманных и тростниковых бараках.

---

* *Печатается по кн.: Некрасова К. Самые мои стихи. Стихи. М., 1997.*

В 1935 году обком комсомола Свердловска направил меня учиться в Москву в Литературный институт ССП.

В 1937 году в журнале "Октябрь" №3 были напечатаны мои первые стихи под редакцией Панферова и поэта Асеева. Рядом со стихами была напечатана статья Асеева о моих первых серьезных работах. И дальше, в этом же году, были напечатаны еще в трех журналах мои стихи.

В 1938 году была напечатана в газете "Комсомольская правда" (от 9 мая) моя поэма "Ночь на баштане" в 300 строк.

В 39, 40 и 41-м годах мои стихи печатали в журнале "Молодая гвардия" под редакцией Кирсанова.

Следующие пять лет всеобщая государственная стройка отразилась на моем существовании.

В 1941 году мы с мужем (горный инженер) и маленьким сыном эвакуировались с шахтами Подмосковья на восток. Примерно в 100 километрах от Тулы наш эшелон бомбили немцы. Мне контузило правую руку...

С мужем в эти годы тоже произошло огромное несчастье: он сошел с ума. А я с горя не знала, как мне быть, и ходила по дорогам Киргизии и собирала милостыню. Проезжающие киргизы и узбеки называли меня дервишем, так как я бормотала себе под нос свои стихи или произносила их вслух, а в руках у меня всегда был карандаш и бумага. Иногда киргизы останавливались и делились со мной лепешками или вяленой бараниной. Хлопали меня по плечу и направлялись дальше, а я шла своей дорогой.

В Ташкенте меня подобрала Ленинградская Академия наук. Вынув из моего мешка стихи и прочитав их, секретарь партийной организации Академии Анна Ивановна Перепечь, профессор Мейлах сейчас же деятельно принялись устраивать мою судьбу. Меня вымыли, накормили и дали возможность два меся-

ца отдыхать. В 1944 году меня Академия наук в мягком вагоне отправила в Москву. А в Москве я оказалась без вещей и площади. И только благодаря друзьям я все-таки существую.

За годы войны я написала цикл военных стихов. И цикл азиатских стихов. Из них были напечатаны стихи в 1947 году под редакцией Симонова в журнале "Новый мир". Сейчас у меня груда стихов и больше ничего нет: ни площади, ни материальных средств к существованию. Сплю у друзей под роялем, на полу.

Моя неприспособленность к работе объясняется врачами травматическим энцефалитом — физически я работать не могу и письменную работу производить тоже не могу, так как дрожит и устает рука, да и мысли мои направлены в сторону стихов, а уж на остальное сил не остается. Свои-то стихи я хотя и медленно и с трудом, но все-таки записываю.

Прошу Вас, прослушайте, пожалуйста, товарищ Сталин, мои стихи, написанные на пластинке: "Вода", написанная мною в период моих скитаний по Киргизии, и "Саваоф", написанный в период, когда меня забрала Академия наук под свою опеку. Третье мое стихотворение "Вереск", написанное в 1950-м и посвященное Вашим подаркам. И стихи об огороднице, недавно написанные. И если стихи мои заслуживают внимания, то не может ли государство дать мне пенсию.

Желаю Вам, милый Иосиф Виссарионович, быть таким же сильным в своем творчестве и здоровья, как мой бог Саваоф.

Ксения НЕКРАСОВА

Прописана я в Большеве, ул.Прудная, д. 5, но там не живу, так как холодно и нет денег заплатить за квартиру. Ответьте по адресу: Суворовский бульвар, д. 7, кв. 6. Мне передадут.

"ВСЯКОЕ ЛИЦО – ПРЕКРАСНО..."

Заметки разных лет. Наброски. Фрагменты

* * *

Вот уже неоднократно слышу я от московских людей литературы, что стихи не нужны, и особенно это относится к белым стихам. Эти куски жизни нашей, перенесенные на бумагу с дерном и щебнем, с бурями и ураганами и с результатами после бурь и ураганов, видимо, беспокоят людей книгоиздения, заставляют думать и вникать в прочитанные из белых стихов, а это очень и очень беспокойно для мозга, привыкшего глотать пережеванную пищу славы. Впрочем, это все вы, товарищи, знаете сами.

А главное и страшное для нас для всех, что стихи не нужны, что эта забава — после войны, а сейчас нам не до поэзии...

Набросок выступления
на собрании писателей 23 июня 1944

* * *

По-видимому, у нас на Руси еще в глубокой древности существовали два потока поэзии: одно течение — это стихи без рифмы, основанные на глубокой мысли и образе, где словам тесно, а мыслям просторно, поэзия историческая и государственная, о трагедиях и победах народа. Поэзия, созданная белым стихом. И второе течение — это зарифмованные стихи, то есть те, где главную роль в создании стиха играет рифма: одинаковое созвучие окончания строчек стиха. Такая поэзия в древнее время создавалась скоморохами и людьми желчного характера, с проницательным глазом... Из сказанного мной, вероятно, чувствуется, что некоторые не ощущают почвы, из которой родилась Русская поэзия, и связи

нашей поэзии с этой почвой, поэтому и размахивают багряными карандашами, вырубая вместе с осиной и благородные деревья белых стихов. Яркость чувств, сердечность, необыкновенность построения фразы, все, что присуще белому стиху, что его делает превосходным и блистательным, – все это выпалывается, как сорняк...

* * *

...А если послушать, как разговаривают или письма пишут русские люди, так целые куски речи или письма можно без поправления вставить в главы поэм.

* * *

Нельзя поместить огромные пространства и человеческие страсти, действующие на этих пространствах, в "европейские рамочки" рифм.

* * *

Я думаю, что произведение родится в мир сразу взрослым, без младенчества и детства, с завершенной и прочной формой и своим собственным умом – т. е. внутренним содержанием, и сразу начинает воздействовать на людей.

1956

* * *

Название книги стихов: Миндаль и цемент.

* * *

В живописи Рериха раскрыта самая скрытая черта Русского государства. Не черта одного человека, а целого народа в целом, его истинная душа, которую мы из-за мелочей буден не замечаем, но которая

есть в нас наперекор всему. Вынь эту черту — и России не будет.

* * *

В рисунках Нестерова, в лицах его святых сказывается нервность XX века — с такими остро-нервными лицами не изображали святых художники прошлых веков.

* * *

Чтобы стать ПОЭТОМ, нужно верить и искать ту правду, которой верит и которую ищет твой народ. И если поэт сумеет показать миру правду своего народа и народ не расхохочется, читая его стихи, не отдаст на кухню, а пойдет к поэту как к учителю (как ходят к скульптору С.Т.Коненкову) — значит, ты достоин называться *гениальным поэтом.* И незачем нам увлекаться Западом, потому что синее искусство *ждет крах.*

1956

* * *

Имей в душе одного Бога,
а двуликого Януса — в сердце не носи:
не выйдет из тебя поэта,
и народ не будет читать и слушать тебя,
если двум богам молиться будешь.

(Наша поэзия 1956 г. страдает этим недостоинством).

* * *

Слушала в Московской консерватории студентку, которая исполняла на арфе какую-то мелодию.

Поразили руки, которые были так же одухотворены и выразительны, как лицо поэта, и лицо — с обы-

денным средним выражением, напоминающее ладонь домохозяйки.

23 января 1953

* * *

Разве правда заключается для людей в том, чтобы показать им их тяготы жизни и их черное настроение — от этих тягот? По-моему, правда — в понимании русского народа.

Справедливая — это безбедная и обильная жизнь, чтобы суд имел совесть и чистое сердце, чтоб для государства был одинаково дорог и нищий, и богач, чтоб жили все по-братски в довольстве и сытости.

А лишения и неудачи — это-то путь к правде.

* * *

Понимание прекрасного делает человека более чутким к другому человеку и ко всему государству, и эти дорогие качества обязательны для нас, людей социализма, так как мы уже строим ворота коммунизма, а искусство, к великой печали строителей, еще ниже мастерства тружеников.

Экономические, организаторские способности и таланты у нас в государстве преобладают над искусством.

* * *

Господство гигантской индустрии и колоссальных пашен неоспоримо создало новые рефлексы в центральной нервной системе современного человека. А раз так, то следует понятие прекрасного извлекать из людей, которые овладели машинами и пространством, и на этом извлечении и строить эстетику моего современника.

1956

* * *

История идет как процесс творчества.

* * *

В пространстве между вещами, событиями и человеком есть неощутимая на ощупь связь. Например, охота: далеко и звуков еще не слыхать, а воздух уже насыщен трагедией, и у присутствующих беспокойно на сердце.

Человек своим присутствием связывает предметы на расстоянии.

* * *

И я думаю, что самое главное из правды вечной принадлежит все-таки этим мостовщикам и парням, и всем гражданам, что делают вещи своими руками.

* * *

Агафья Тимофеевна Игнатова — 72-х лет. Государственного ума женщина. Работает уборщицей, моет лестницы, уборные, ухаживает за больными, обмывает покойников — понимает сущность человеческую от макушки до пяток. Абсолютно лишена мещанства. Две общечеловеческие страсти живут в ее душе. 1-я — любовь к деньгам, доведенная до скупости, и 2-я — желание делать добро ближнему (у ней обязательно кто-нибудь из бездомных и безродных живет, вот так и я к ней попала). Эти две черты требуют тщательного проникновения.

В молодости А.Т. участвовала в забастовках и подпольных чтениях прокламаций, но дальше этого не пошла, т.к. не обладала теми качествами характера, при которых люди поднимаются по лестнице возвышения — т.е. умением поощрять и поддакивать в

проявлении добродетелей и недостатков людям, имеющим хотя бы незначительную власть, а образования, которое дает людям смелость и бойкость в обществе, А.Т. не имела и вообще была малограмотной.

Лицом А. Т. некрасива, но лоб — высокий белый, с буграми ума по направлению к вискам, и все лицо бледнеет часто при взволнованном высказывании мысли. А как известно, симпатичное лицо вызывает со стороны людей всех государственных систем внимание и сочувствие, но А.Т.И. не имела внешней обстоятельности.

Материал для рассказа.
19 февраля 1953

* * *

Кириллу — золотой веточке моей — два года и 5 месяцев.

Я его спрашиваю: — Кирюшенька, ты красивый?

Мальчик долго и серьезно молчит и через несколько мгновений произносит сурово: — Да.

— А я красивая?

Кирюшенька обводит все мое лицо глазами и молчит, тогда я спрашиваю: — Я страшная?

Кирюшка улыбается и говорит: — Нет.

— А кто у нас красивый? — Я, — произносит мальчишка и хитро смеется.

— Кирюша, хочешь я тебе сказку расскажу? Нет, давай лучше вместе: я тебя буду спрашивать, а ты мне будешь отвечать. Жил-был кто?

Кирюшка отвечает:

— Собака.

— Собака куда пошла?

— На улицу.

— Кого собака увидела на улице? — Девочку.

— Что сделала собака?

— Подарила девочке красную шапочку.

Причем ответы на вопросы он сочиняет сам.

4 марта 1953

* * *

Взрослые только притворяются взрослыми: думаете, украшения елочные они для ребят покупают? — сами себя не хуже младенцев забавляют а внешне посмотришь — очки, шляпа, портфель в руках, а у самого в кабинете медвежата на столе, да и эти туалетные безделушки — тоже игрушки.

Человек до конца своих дней остается ребенком, только мозговые линии умножаются и углубляются к созреванию — потому взрослым и становится.

* * *

В Воронежской области.

В колхозной семье родились у собаки щенята. Девочка 12 лет решила их спасти, а братишка на глазах у нее всех взял и задушил. Тогда девочка в великих слезах собрала щенят в фартук и, таясь, понесла садом. Увидав ее, отец спросил:

"Что несешь, дочка?" — "Яблоки, тятенька!" — так и пронесла на кладбище и зарыла щенят на бабушкиной могиле...

* * *

Один гражданин был любитель голубей, и голуби его понимали, и он голубей чувствовал. В 30 лет он умер. Голуби летели за гробом стаей. У часовенки, где его отпевали, птицы дожидались его выноса и проводили своего хозяина до последнего пристанища.

* * *

...И были у этих нарядных уток желтые цыплята — утиные дети, пушистые и беззащитные, как цветы...

* * *

Слепую старушку спрашивают: “Что ты, бабушка, боишься смерти-то?”. А старушка, сияя слепыми глазами, говорила: “Да я ее, матушку мою, как придет ко мне, схвачу в охапочку и скажу: смертушка моя милая, что ты долго не шла ко мне?”.

* * *

К старости у человека на лице проступает какая-нибудь одна из черт характера — или скупость, или святость, или чревоугодничество и т.д.

* * *

Подымается новая сила — жадно поедающая и мороженое, и белый хлеб, и всякую дорогую и дешевую пищу, с одинаковым усердием хватающая шелк и ситец, панбархат, корыта, кровати, зеркала, табуретки, душегреи, резиновые сапоги... С энергией, мощь которой не проверена, не измерена, набрасывается эта сила на леса, реки, горы и озера.

* * *

А может, быть, западный пессимизм и советское жизнеутверждение и явятся цельным лицом XX века для будущих историков?

* * *

Еду в метро — рядом рабочий с работы. Запыленный и пропотевший, коричневые руки начисто вымыты и лежат на коленях. А из-под ладоней выглядыва-

ет книга. Уголки книги пухлы и пушисты и отсвечивают черным. Человек бережно кладет книгу за пазуху и выходит. Книга называется “Петр I”.

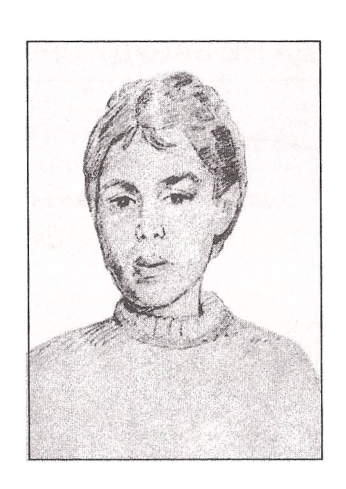
* * *

На Русской земле живут люди талантливы или удачливы. И надрывные люди изредка попадаются. Пропадет удача — уходит простой человек или в босячество или странничать. Ходит по земле, все рассматривает и запоминает — из Сибири в Киев, из Киева на Соловки — города похваливает, законы поругивает. Женщины одежду постирают и на печке место ночевать дадут.

* * *

Самое замечательное из живых и холодных явлений на земле есть человеческое лицо, недаром оно расположено рядом с полушариями мозга.

Всякое лицо — и вождя, и короля, и раба, и пролетария — прекрасно по выразительности чувств. И как ученые открывают законы физических и химических наук, так поэты, судьи и художники сделают открытия в лице человека, найдя лучи радия в глазах и атомные распады и образования в мозге человека, так как мозг наш похож на сжатую до предела Вселенную, из которой выжато пространство.



Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ПРО КСЮШУ...

Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ПРО КСЮШУ...

Константин Михайлович,
я гибну, одной не ~~выбратыся~~ ~~вынар~~ выбратся
~~В честь вашей светлой юности~~
~~я обращу~~ прошу Помогите мне пожалуйста.

Ярослав Смеляков

КСЕНЯ НЕКРАСОВА*

Что мне, красавицы, ваши тряпки,
ваша изысканность, ваши духи и белье?
Ксеня Некрасова в жалкой соломенной
шляпке
в стихотворение медленно входит мое.

Как она бедно и как неискусно одета!
Пахнет от кройки подвалом иль чердаком.
Вы не забыли стремление Ксенино это —
платье украсить матерчатым мятым цветком?

Жизнь ее, в общем, сложилась не очень
удачно:
пренебреженье, насмешки, даже хула.
Знаю я только, что где-то на станции
дачной
вечно без денег она всухомятку жила.

На электричке в столицу она приезжала
с пачечкой новых, наивных до прелести
строк.
Редко когда в озабоченных наших журналах
вдруг появлялся какой-нибудь Ксенин
стишок.

** Печатается по кн.: Смеляков Я. День России. М., 1967.*

Ставила буквы большие она неумело
на четвертушках бумаги, в блаженной тоске.
Так третьеклассница, между уроками, мелом
в детском наитии пишет на школьной доске.

Малой толпою, приличной по сути и с виду,
сопровождался по улицам зимним твой прах.
Не позабуду гражданскую ту панихиду,
что в крематории мы провели второпях.

И разошлись, поразъехались сразу:
до срока,
кто — на собранье, кто — к детям,
кто — попросту пить.
Лишь бы скорее избавиться нам от упрека,
лишь бы быстрее свою виноватость забыть.

Степан Щипачев

МРАМОРНАЯ ЧАША

*О стихах Ксении Некрасовой**

Передо мной тоненький, похожий на брошюру сборник стихов Ксении Некрасовой, вышедший в издательстве "Советский писатель" в 1955 году. В нем на тридцати трех страничках тринадцать стихотворений и небольшая поэма, название которой носит и сборник: "Ночь на баштане". Тираж — 5000. Листая сегодня эту книжку, ставшую давно библиографической редкостью, еще раз убеждаешься: сколько в ней истинной поэзии! И трудно верится, что когда-то и книге, и мне, ее редактору, приходилось долго пробиваться сквозь людскую глухоту. Однако доброе на-

---

* *Печатается с сокращениями по газете "Литературная Россия" (1979, 19 октября).*

чало было положено. Через три года, дополненный новыми стихами, сборник был переиздан. Только Ксении уже не было в живых. Он вышел в свет через месяц после ее смерти.

Потом были напечатаны новые издания ее произведений, потом было написано много хороших стихов о Ксении Некрасовой, но я не вспомню сколь-либо заметных статей о ней, хотя были же и юбилейные даты: пятидесятилетие, шестидесятилетие, не в таком уж далеке и ее семидесятилетие.

Чаще всего обращали внимание на ее "странности", она и сама их, видимо, чувствовала и переживала, ведь не зря же написала однажды: "Под крышей этой забываю я и горести, и странности мои". Но я бы назвал это "непохожестью", "необычностью". Она проявлялась во всем: в облике — ее всегда легко узнавали по бессменному платью, вылинявшему от стирки и непогод, по старомодной соломенной шляпке; в характере — у Ксении была обостренная совестливость и почти детская доверчивость; в манере читать стихи — она словно бы выборматывала слова; и, главное, в самих стихах — Некрасова писала свободным стихом, как его еще называют, верлибром, без рифм, без строгого размера, и потому он мог показаться рыхлым, раздерганным. Но это не так. В ее строчках особая, неповторимая музыка, и изображение она умеет доводить почти до скульптурной зримости. И вот сейчас я как поэт, как редактор ее первого сборника, как человек, лично знавший Ксению, хочу рассказать именно о ее стихах, потому что, мне кажется, они еще не всеми и не в должной мере оценены.

Прошла Ксения Некрасова по своей недолгой жизни с удивленными глазами, влюбленная в красоту. Потому-то и принимаешь многие ее строки, "наивные

до прелести", по выражению Ярослава Смелякова, безоговорочно, такими, какие они есть, о чем бы они ни были, хотя бы о детстве. Ибо только она могла написать так:

А колеса на оси,
как петушьи очи, вертелись.
Ну, а я посреди телеги,
как в деревянной сказке, сидела.

С той же непосредственностью, с тем же удивлением красоте написано и другое стихотворение о детстве — "На закате":

Я сидела ниже травы,
тише листвы.
А выше моей головы
цвели на грядах цветы.
И лиловые залы видела я
и оранжевое убранство их...

В тяжелые годы войны Ксения Некрасова некоторое время жила в Ташкенте. Отсюда и восточные мотивы в ее поэзии. Отразилось это и в стихотворении "О художнике":

Вот Азия стоит на полотне:
день пройденный
и заключенный в раму.
А поперек небес
коричневый безлиственный сучок,
и белые цветы
на узловатых сгибах.

Она глубоко уважала людей труда, восхищалась и любовалась работой — любой: и живописца, и крестьянина, славила "пальцы, умеющие отделять лепе-

стки цветов...", руки, из-под которых "поднимаются многоэтажные здания, протягиваются километровые мосты".

Поэма "Ночь на баштане", упомянутая мною в начале статьи, начинается строчками:

Ночь как день,
посредине — баштан столом.
На зеленом столе
букет стоит
дубов могучих и лип.
И артельная чашка небес
опрокинута кверху дном,
и на самом крае ее
месяц ломтиком дыни прилип.
А вокруг — широко:
в обе стороны
руки раскинь,
закричи, —
крик взметнется в выси
и повиснет в молчанье.

Сколько простора, воздуха, восхищения в этих строчках!...

Я сознательно не скуплюсь на цитаты, надеясь на их убедительность, надеясь, что люди, почему-либо до сих пор не знакомые со стихами Некрасовой или относящиеся к ним с недоверием, прочтя это, захотят раскрыть ее книги.

Я все еще ни слова не сказал о биографии Ксении Некрасовой. Родилась она в 1912 году. Родителей своих не помнила. Взята была из приюта семьей учителя на воспитание. Окончила семилетку, училась в педтехникуме, была культработником на Уралмаше, затем Свердловский обком комсомола направил ее в Москву учить.

Прямо скажем, сведения скуповаты. Но мне, хо-

рошо знавшему Ксению, дорисовывают ее образ, ее судьбу строчки из стихотворения "Чаша в сквере":

Меж стволов березовых у сквера
возвышалась мраморная чаша;
листья виноградные из камня
чаши основанье обвивали.
И девочка в ватной душегрейке,
в яркой, как зарницы, юбке
протирала тряпкою холщовой
каменные гроздья...

Не так ли и она, Ксения Некрасова, протирала чашу поэзии?

Борис Слуцкий

КСЕНИЯ НЕКРАСОВА

*(Воспоминания)**

У Малого театра, прозрачна, как тара,
Себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидала и стала:
— Боря! Здравствуйте! Это вы?
А я-то думала, тебя убили.
А ты живой. А ты майор.
Какие вы все хорошие были.
А я вас помню всех до сих пор.

Я только вернулся после выигранной,
После великой второй мировой
И к жизни, как листик, из книги выдранный,

---

* *Печатается по кн.: Слуцкий Б. Сегодня и вчера. Книга стихов. М., 1963.*

Липнул.
И был — майор.
И — живой.
Я был майор и пачку тридцаток
Истратить ради встречи готов,
Ради прожитых рядом тридцатых
Тощих студенческих наших годов.
— Но я обедала, — сказала Ксения. —
Не помню что, но я сыта.
Купи мне лучше цветы
синие,
Люблю смотреть на эти цвета.
Тучный Островский, поджав штиблеты,
Очистил место, где сидеть
Ее цветам синего цвета,
Ее волосам, начинавшим седеть.

И вот, моложе дубовой рощицы,
И вот,
стариннее
дубовой сохи,
Ксюша голосом
сельской пророчицы
Запричитала свои стихи.

Маргарита Алигер

ЖГУЧЕЕ ВОСПОМИНАНИЕ*

Она появилась во второй половине тридцатых годов и была необычайно быстро и сразу замечена и принята. Ей удивился и обрадовался Николай Асеев, а он был вовсе не тем добрым дядей, которого ничего

** Печатается с сокращениями по кн.: Алигер М. Тропинка во ржи. О поэзии и поэтах. М., 1980.*

не стоит удивить и обрадовать. Словами изумления и радости он предварил выход в свет ее первой публикации, столь не похожей на наши стихи той поры, столь неожиданной и вместе с тем долгожданной. Ее имя зазвучало, передаваемое из уст в уста, и казалось, вот они и пришли — признание, успех, слава.

Но она была неприспособленна для столь простого и легкого решения вопроса своего существования, она не для этого появилась, и не за тем устремлена была душа ее. Она была... нет, не человеком и не поэтом, она была существом решительно другого измерения, чем такие обыкновенные смыслы, как признание, успех, слава.

Повидать ее мне как-то не случилось, и когда однажды зашла о ней речь, я поинтересовалась тем, какая она. Один человек ответил мне с полной непререкаемостью:

— Обыкновенная юродивая, как все настоящие поэты.

Я поморщилась, потому что и вообще-то не люблю достаточно банального смысла подобного определения. Очевидно почувствовав мое отношение, мой собеседник продолжал уже совсем в другой тональности:

— Поймите меня правильно, я имею в виду самое возвышенное значение этого смысла. Самое высокое значение... Ну, хотя бы как "идиот" у Достоевского. Согласитесь, что в его устах это определение имеет совсем иной смысл, чем в каком-нибудь кухонном конфликте или в трамвайном столкновении.

Я больше не стала спорить, оставшись, однако, при своем ощущении и так и не уяснив, как же все-таки выглядит Ксения Некрасова.

А она довольно быстро словно бы куда-то провалилась, и имя ее затерялось в какой-то глуби, — мо-

жет быть, даже это уже была война. Ибо я-то помню ее с войны, именно с войны. До войны мне, кажется, так и не привелось ее повидать.

Она подошла ко мне в вагоне подмосковной электрички, и так как я не помню, встречались ли мы прежде, то, может быть, даже она сама назвалась мне, и я растерялась, потому что уж очень она была не такая, как все, и я, право, не знала, с чего начать разговор и о чем вообще-то разговаривать. Я возвращалась на дачу, там жили дети, их нужно было кормить — не столь уж простая задача в те поры. Я жила с ними, много работала на недостроенном верху чужой бревенчатой дачи, где было свалено сено и где я иногда ночевала и на всю жизнь заболела странной болезнью — сенной лихорадкой. Но часто я уезжала в Москву — по делам и за продуктами — и иногда проводила в городе по нескольку дней, ибо в Москве тоже была моя жизнь, очень ее дорогая и существенная для меня часть. И вот мы встретились в вагоне электрички, по-моему, первой в Москве электрички, по Северной дороге.

От растерянности я, кажется, даже задала ей несколько пустых вопросов, на которые сама терпеть не могу отвечать: что она пишет, пишется ли ей и публикует ли она что-нибудь? Ответов не помню, очевидно, они были достаточно несущественны, на уровне вопросов. Она рассказала, что живет за городом постоянно, но часто ездит в Москву и проводит там целые дни. Почему-то она вдруг сообщила мне, что на Северном вокзале очень хорошая дамская туалетная комната. Так и сказала “дамская”, и это слово было так странно услышать от нее. Уж очень оно было противопоказано всему ее облику. И от этой несколько странной информации вдруг повеяло такой неустроенностью, такой горькой бездомностью.

Вот я упомянула двумя строками выше слово “об-

лик", а могу ли восстановить этот облик, хотя бы примерно написать его? Она была невысокая, плотная, ширококостая, с круглым, слегка скуластым лицом, с широко расставленными серыми, по-моему, глазами, смотрящими на мир с огромным, жадным интересом. И все ее лицо, вылепленное без особенного тщания, достаточно грубовато и немудрено, было словно озарено живым и прелестным изумлением, радостью узнавания и познавания мира, интересом ко всему сущему, интересом трепетным и добрым, искренним, неподдельным и бесконечно доверчивым. Она словно видела окружающий мир только лучезарным и прекрасным и не ждала от него никакого подвоха, никакого предательства, только радость и доброту. Как ей небось трудно было соприкасаться с жизнью, со всем мучительным и безжалостным в ней. А ведь доводилось, ой как доводилось!

Проехав несколько станций и поговорив о каких-то несущественных предметах, она вдруг спросила, не найдется ли у меня трех рублей. Трех рублей у меня не было, был рубль и еще горстка мелочи, и я все это тотчас же пересыпала в ее ладонь, мягкую, плотную, чистую. Пересыпала, соображая, у кого из дачных соседей можно будет призанять деньги для следующей поездки в Москву. Чуть-чуть поколебавшись, я сказала, что могу уделить ей кое-что из съестного, и она просто и даже с радостью согласилась.

С тех пор мы стали часто встречаться в электричке, и я уже бывала рада, завидев издали ее лицо, немедленно озаряющееся улыбкой, но тут же, почти сразу за радостью, меня неизменно охватывало странное чувство скованности, неловкости и растерянности. Что вызывало эту скованность? Скорее всего, пожалуй, ощущение того, что я неизмеримо

более обыкновенна и благополучна, чем она, хотя и мое благополучие в те военные годы носило весьма и весьма условный и относительный характер. Не стану перечислять свои тогдашние нелегкие обстоятельства, но все-таки, все-таки, все-таки у меня был дом, и обед, и постель, а у нее? Я не решалась спрашивать, даже боялась спрашивать, сознавая, что ничем не могу ей помочь радикально, а чем могла, помогала, стыдясь того, сколь это мало, и понимая, что помощь такого рода ничего не меняет в ее, очевидно, неустроенной и несчастливой судьбе.

Потом пришла осень, и мы съехали с дачи и перестали встречаться с Ксенией в электричке. Изредка сталкивались где-нибудь в Клубе писателей или в какой-нибудь редакции. Всегда при встрече меня пронзало сознание какой-то почти вины перед нею. Как-то живет она и на какие шиши? Так редко удавалось увидеть в печати какие-нибудь ее строки. Кажется мне, что так же воспринимали ее и другие люди, другие наши товарищи литераторы. Все понимали ее исключительность и необычность, все разводили руками от невозможности ей помочь. Все относились к ней по-доброму и в то же время чуть-чуть иронично, а то и раздраженно, словно бы стараясь чем-ничем защититься от мучительного сознания того, что живет между нами такая вот Ксения Некрасова и никто из нас не может ей помочь стать счастливее. Помню, как отмахнулся от моих сетований по этому поводу покойный Михаил Светлов: "Она не может иначе жить, старуха. Она никогда не будет жить иначе, пойми ты это". Удалось, правда, устроить ей комнату — хотя бы будет где жить, но как жить? Стало очевидно, что она ждет ребенка,— опять помогли, чем могли. Жила как-то и на свой манер старалась сделать свою жизнь полнее... А нам со стороны, думаю я сейчас, может

быть, и впрямь было невозможно ей помочь, просто потому, что она была не приспособлена для более благополучной и устроенной жизни. И постепенно словно совсем притупился и заглох звук ее имени, столь полнозвучно зазвучавшего во второй половине тридцатых годов.

И вот уже миновала война, и пошла вторая половина сороковых, и журнал "Новый мир" — его тогда редактировал Константин Симонов — надумал открыть следующий, 1947 год большой подборкой лирических стихов московских поэтов.

Сейчас "Новый мир" помещается на задах кинотеатра "Россия" и Агентства печати "Новости", во дворе дома на Путинковском переулке, а тогда, сразу после войны, он находился в доме на Малой Дмитровке (улица Чехова), в том двухэтажном здании, непосредственно примыкающем к "Известиям", где и поныне расположена главная бухгалтерия издательства. И редакционное помещение, впоследствии разгороженное на несколько маленьких комнат для разных редакций, представляло собой одну огромную комнату, где на разных столах обитали разные отделы журнала. В помещении этом, разумеется, всегда было много народу и всегда было очень шумно, накурено и бестолково. Меня вызвали посмотреть верстку моих стихов, и, стараясь отключиться от стоящего вокруг шума и разговоров, я читала верстку, примостившись у края стола тогдашней заведующей отделом поэзии, еще не старой, но уже седой женщины, знающей и любящей свое дело и его предмет — русскую поэзию. Может быть, и женщина эта не забыла то, о чем я хочу рассказать сейчас всем.

Верстку я вычитала быстро, и мы с ней болтали о том о сем, о будущей подборке, о том, что в ней появится интересного.

— Вот, взгляните-ка на это,— сказала моя собеседница, протягивая мне еще одну корректуру.

И я прочитала набранное свежей краской стихотворение Ксении Некрасовой "Мальчик".

— Чудесно! — воскликнула я, дочитав.— Что за стихи! Что за чудо-стихи! — громко и безоглядно радовалась я.— Даже непонятно: что это, откуда? Чудо, да и только!

— Хотите сказать об этом автору? — спросила довольная моей реакцией заведующая отделом поэзии.

— Ну, скажу непременно как-нибудь при случае,— почти отмахнулась я.— Но вообще-то ведь это совсем разное — стихи и их автор. Я с ней общаться не умею. Не получается как-то... Все-таки она...

И, не задумавшись, с размаху, я произнесла то самое слово, которое в просторечье звучит достаточно грубо и вульгарно, ибо люди охотно пользуются им всуе и давно уже затерли и затрепали ту возвышенность, то изумление души, тот священный трепет, который вложил в него однажды и навеки великий русский писатель. И вот оно слетело с моих губ, это жестокое слово, еще и упрощенное женским окончанием, прозвучав в переполненной комнате достаточно громко и слышно, и что-то вдруг дрогнуло и изменилось в лице моей собеседницы, и тотчас же я словно всем своим существом ощутила, что в комнате что-то случилось, что-то ужасное, что-то непоправимое. Испуганно оглянувшись, я увидела, как много вокруг народу, и поняла, что все эти люди слышали ужасное слово и что этого уже не поправишь, и в тот же миг я увидела, что через всю комнату, сквозь расступившуюся толпу, прямо на меня идет Ксения. И, встретившись с моим взглядом, она тотчас же улыбнулась той самой большой, доброй улыбкой, которой всегда улыбалась мне в подмосковной электричке.

Сказать, что я растерялась,— это значит ничего не сказать. Сказать, что я пришла в ужас,— это тоже очень мало и бледно. Я не помню в жизни своей какой-либо хоть отдаленно похожей минуты. У меня словно железом перехватило горло, и из глаз брызнули слезы, затуманившие весь окружающий мир. Я была в глубоком, в неизмеримом горе, в истинном отчаянии. Если бы я упала на колени, может быть, мне бы стало чуточку легче, но это сразу не пришло в голову.

— Ксения... Ксения... Ксения... Простите, простите меня! — лепетала я, задыхаясь от стыда, от муки, от страдания. Мне казалось, что кругом настала тишина, — может быть, это только мне так казалось, — и что все взгляды устремлены на нас,— может быть, и этого не было на самом деле, — но не было меры моему мучению, и широко, ясно, открыто улыбалась Ксения.

Я схватила ее за руку, я готова была прижать к губам эту плотную, широкую, чистую ладонь, и она не отнимала ее, продолжая улыбаться. И вдруг сказала громко, просто и отчетливо:

— Спасибо вам. Спасибо, что вы так хорошо говорили о моих стихах.

И была в этих словах такая чистота и отрешенность, такое покойное и непобедимое человеческое достоинство, такая высокая сила духа, которые я никогда с тех пор не могу ни забыть, ни утратить. Слава богу, что мне довелось в судьбе моей, пусть даже столь постыдной ценой, услышать звучание этих нескольких слов, соприкоснуться с их глубиной и светом. На этом уровне для меня на всю жизнь осталась Ксения Некрасова.

1977

Алексей Марков

* * *

А жила Некрасова*
В сыром полуподвале,
В дома с панно и вазами
Ее не приглашали.
Из одеялок байковых
Наряды мастерила,
С бездомными собаками
Еду свою делила!
Но женщина есть женщина!
Любила украшенья.
Сидела поздно вечером
За собственным твореньем:
Нанизывала трепетно
Фасолины на нитку,
Ходила гордой лебедью,
Дарила нам улыбку!
Но умница Некрасова,
Бывало, глаз поднимет:
"Поэзия от разума —
Уха на керосине!"
И пела вольной птицею —
Невинно, мудро, чисто,
Не кланяясь традициям,
Не веря модернистам.
А умирая, Ксюшенька
Дородной докторице
Сказала тихо: — Душенька,
Из родника б напиться...

---

* *Печатается по газете "Вечерний Челябинск" (1986, 22 апреля).*

Константин Ваншенкин

КСЮША НЕКРАСОВА*

Именно Ксюша. Она была старше меня на тринадцать лет, но я обращался к ней так, и это было естественно. Так называли ее очень многие, и даже совсем молодые.

Что она представляла собою в жизни?

Вот в Доме литераторов, в Дубовом зале большой вечер известного поэта. Зал переполнен. И едва поэт заканчивает очередное длинное стихотворение, в тот миг тишины — перед аплодисментами, — откуда-то сверху, с хоров, раздается характерный, высокий и словно дурачащийся голос Некрасовой:

— Боже мой, как пло-о-хо!..

И шумная реакция публики: шиканье, возмущенные возгласы, хохот.

Что это? Для чего и почему она так поступала? Можно сказать с полной определенностью: это были не бравада, не рассчитанное желание нарушить порядок или привлечь внимание к собственной персоне. Просто таково было ее мнение, и она его выражала, подчиняясь импульсу, порыву, не считаясь с последствиями. В этом была ее сущность.

Вообще-то она была спокойной, выглядела даже сонной, говорила тихо. У нее был несколько выпуклый живот, сложенные на нем или под ним неухоженные руки; лицо и глаза малоподвижны.

Носила она длинные пестрые платья или сарафаны, большей частью дареные. Она легко принимала подарки, могла сама попросить рубля два (в старых деньгах) на обед, не считала это зазорным. В благодарность обязательно хотела почитать новые стихи

---

* *Печатается по кн.: Ваншенкин К. Писательский клуб. М., 1998.*

— доставала откуда-то смятые листки, обычно линованной школьной бумаги, на которых они были переписаны ее неуверенным, крупным, детским почерком. Многие ее стихи я услышал впервые вот так, на ходу, на бегу, в авторском исполнении. До сих пор стоит у меня в ушах:

А я недавно молоко-о пила...

К слову, о подарках. А.А.Ахматова, с которой Ксюша познакомилась в ташкентской эвакуации, тоже беззаботно их принимала.

Хорошо знавшая Ахматову художница Татьяна Александровна Ермолинская рассказывала мне, что многие женщины, в особенности жены местного начальства, считали своим долгом поддерживать Анну Андреевну.

Она жила на втором этаже, окнами во двор, и часто, выходя на галерею, обращалась к сидящим внизу:

— Мне тут платье принесли, так оно мне не впору. Может быть, кому-нибудь подойдет. — И с великолепной царственной простотой опускала его через перила. Так же раздавала она окружающим лишние, по ее мнению, продукты.

Поэзия Ксении Некрасовой чрезвычайно своеобразна, и в первую очередь самим стихом. При желании в нем можно увидеть что-то от современного западного верлибра, от старинной русской миниатюры, но более всего от свободного русского стиха. Некрасова упорно уходила, уклонялась от рифмы, но порою не выдерживала и уступала ей — чуть-чуть, кое-где, почти незаметно, а изредка и явно. Однако и присущий ей стих, не будучи укреплен рифмой, хорошо держится, он изящен и органичен.

Мир Ксении Некрасовой — это реальный и одновременно волшебный мир. Обращает на себя вни-

мание широта взгляда, доброта души, острая потребность в любви у ее лирической героини.

Прекрасны стихи,связанные с природой, — их очень много, — с детством. Такие стихотворения, как "Русская осень", "Русский день", просто "День", стихи о Средней Азии, пронизаны различными оттенками настроения, осязаемы. Ксения Некрасова исключительно наблюдательна. Вот вздымаются стволы, "...пронзая прутьями сучков оплыв сияющих сосулек". Она предельно метафорична. Дети едут в поле, и

Один ноги свесил с телеги
и взбалтывал воздух, как сливки.

Куст сирени поднимает цветы, "как голых детей". Дыхание на морозе — "...изо рта птенцы пуховые летят"...

Но, пожалуй, более всего привлекает у Некрасовой внимание к народной жизни, знание ее в деталях и подробностях, восхищение людьми труда. Я думаю, редко кто в такой степени, как она, знал, и, главное, видел и ощущал народную жизнь изнутри. Вот описание вокзала:

Мешки, отсвечивая ткацкою основой,
наполненные девичьим приданым,
накопленным на торфоразработках,
лежат, как идолы,
у мраморных скамеек,
чуть приоткрыв оранжевые рты,
на скамьях тихо, рядом,
одетые в стеженые пальтушки,
мордовки юные сидят...
И солдат
в ожидании своего эшелона
какую-то до слез знакомую мелодию,
прижав баян к груди,
выводит медленно в тиши...

У Ксюши был явно общественный характер, она любила присутствовать на заседаниях Бюро поэтов, на собраниях. Может быть, это было связано отчасти с ее бездомностью. Как не вспомнить тут ее мимоходом оброненные строки:

...Тогда с колен
я сбрасываю доску,
что заменяет письменный мне стол,
и собирать поэзию иду
вдоль улиц громких.

Они наводят меня на мысль о Хлебникове.

Иногда ее не пускали на эти заседания, боясь, что она помешает, или предлагали покинуть их после ее реплик. За ее непосредственность некоторые считали или называли Некрасову юродивой, блаженной. После ее смерти интерес к ней стремительно возрос. Но и при жизни Ксюши ее любили и ценили многие, в том числе Асеев, Луговской, Светлов, Смеляков, Слуцкий, Евтушенко, а по свидетельству составителя ее изящно изданной книги стихов Л.Рубинштейна, — также Олеша и Алексей Толстой.

Разумеется, стихи Ксении Некрасовой не могут быть близки всем. Они не вполне привычны и словно игнорируют блестящие достижения в области организации русского стиха. Но хорошо, что существуют в нашей поэзии и такие стихи, нельзя не отдать должное их замечательным свойствам, о которых я постарался сказать в этой короткой главе. А закончить ее мне бы хотелось стихами Ксении Некрасовой:

Мои стихи...
Они добры и к травам.
Они хотят хорошего домам.
И кланяются первыми при встрече
с людьми рабочими.

Михаил Светлов

О КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

В книжке Ксении Некрасовой "Ночь на баштане" всего тринадцать небольших стихотворений и крохотная поэма. И нет ни одного стихотворения, в котором читателю не явилось бы что-то светлое и чистое. А пейзажи иногда просто поражают — в них природа не только переливается своими необыкновенными красками, в них еще видно непосредственное и подкупающее нас отношение к этим краскам. Если выразиться театральным языком, то сверхзадача всего творчества Ксении Некрасовой — единство природы и человека. У нее цветы как люди и люди как цветы...

В целом, принимая Ксению в союз, мы приобретаем талантливого товарища, у которого есть такие душевные достоинства, которых мы, бывает, лишены. А членский билетик поможет ей продолжать работу и облегчит ее весьма трудное бытовое положение*.

---

* *Наряду с этой рекомендацией, данной К.Некрасовой для вступления в Союз писателей (печатается с небольшим сокращением по кн.: Михаил Светлов. Беседует поэт. М., 1968), можно привести выдержки из некоторых других официальных отзывов о ее творчестве, хранящихся в РГАЛИ: "...декадентское ломание под "девочку", манерная детскость для умиляющихся маститых дядь из узкого литературного кружка... Никакой творческой дисциплины!" (А.Митрофанов); "...в стихах К.Некрасовой есть много инфантильной психологии... Раздробленные кусочки таланта не собрались в поэтическое явление, в факт поэзии. А ведь читателю мы имеем право давать то, что уже как-то выкристаллизовалось и улеглось. Я была бы против издания книги К.Некрасовой" (Е.Книпович); "...стихи ее душевно чисты и обладают полной ясностью" (М.Луконин); "...надо призвать к ответственно-*

Евгений Евтушенко

ПАМЯТИ ПОЭТА КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ*

Я никогда не забуду про Ксюшу,
Ксюшу,
похожую на простушку,
с глазами косившими,
рябоватую,
в чем виноватую?
Виноватую
в том, что была рябовата,
косила
и некрасивые платья носила...

Что ей от нас было, собственно, надо?
Доброй улыбки,
стакан лимонада,
да чтоб стихи хоть немножко печатали
и чтобы приняли Ксюшу в писатели...

сти товарищей, которые теперь (1953 год — Л.Б.), как и пятнадцать лет назад, вводят в заблуждение нашу общественность относительно Кс.Некрасовой. Они, по сути дела, издеваются и над самой Некрасовой, заставляя ее писать стихи, которые никогда не могут осуществиться по простой причине: Некрасова — больной человек. А творчество ее в целом — это, не в обиду будет сказано, — законченный образец графомании" (А.Жаров); "...среди нас живет и работает очень своеобразная, "трудная", ни на кого не похожая поэтесса, которая имеет право на внимание" (С.Смирнов); "...здесь нужно или принять сборник ("Ночь на баштане" — Л.Б.) в целом, или его начисто отвергнуть. Я его принимаю" (В.Инбер).

** Печатается по кн.: День поэзии. М., 1965.*

Мы лимонада ей, в общем, давали,
ну а вот доброй улыбки —
едва ли,
даже давали ей малые прибыли,
только в писатели Ксюшу не приняли,
ибо блюстители наши моральные
определили —
она ненормальная...

Люди,
нормальные до отвращения,
вы —
ненормальные от рождения.
Вам ли понять,
что, исполнена мужества,
Ксюша была беременна музыкой?

Так и в гробу наша Ксюша лежала.
На животе она руки держала,
будто она охраняла негромко
в нем находившегося ребенка...

Ну а вот вы-то,
чем вы беременны?
Музыкой, что ли,
или бореньями?
Что вы кичитесь вашей бесплотностью,
Вам не простится
за бедную Ксюшу.
Вам отомстится за Ксюшину душу.

Надежда Чертова

МОЯ КСЕНИЯ*

В середине пятидесятых годов, когда была создана или, точнее, воссоздана московская писательская организация и председателем ее стал К.А.Федин, а мы, четверо членов правления и рабочего президиума — Е.Долматовский, О.Писаржевский, Ю.Чепурин и я, — были избраны его заместителями, у меня произошло несколько неожиданных и, как мне тогда представлялось, совершенно случайных встреч с Ксенией Некрасовой.

С той поры прошло более тридцати лет, и встречи эти, казалось бы, могли выветриться из усталой памяти старого человека. Но — нет. Ксеня, какою она была в те годы, стоит и стоит у меня перед глазами. Старозаветные люди сказали бы: "Помину просит..." Не просит, а скорее требует, думалось мне. Время шло, и у меня в самом деле росло желание написать о Ксене как сумею, и уж не простое это было желание, а скорее чувство моего личного, неотложного долга перед Ксеней.

Разумеется, я не преувеличиваю своих возможностей. К племени критиков я не принадлежу, сама стихов никогда не сочиняла и лишь как читатель, если говорить о стихах современных, принимала их иль не принимала. И все же решилась я написать о Ксене Некрасовой, о моей Ксене, какой осталась она у меня в памяти, — о мужественном, прекрасном, еще не совсем распознанном человеке и поэте, столь внезапно и столь крепко прильнувшем к моему не слишком податливому сердцу.

Но что же знала я тогда о Ксене Некрасовой? По-

---

* *Печатается с сокращениями по кн.: Поэзия. Альманах. Вып. 46. М., 1986.*

чти ничего. Одинока, чудаковата, пишет стихи, печатается редко, живет где-то за городом. Не член Союза писателей.

Не член Союза писателей!

Здесь, вижу, необходимо сказать о том, что в рабочем составе президиума на мои плечи взвалили самую хлопотную, взрывоопасную работу по распределению жилищ среди писателей. В те годы массовое строительство жилья в Москве только еще начиналось, а небольшое количество квартир, выделяемых время от времени Моссоветом, распределялось в Союзе писателей аппаратным порядком. Словом, в наследство от СП СССР мы получили пятьсот неудовлетворенных заявлений на жилье. Среди заявителей были и покойные писатели. Я перечитала заявления, провела несколько людных приемов посетителей, собрала нашу жилищную комиссию, и тут только в полной мере дошло до меня, сколь нетерпимым было положение с жильем у многих и многих писателей: некоторые семьи надо было просто спасать. Положение усложнялось еще и тем, что решения нашей жилищной комиссии утверждались двумя инстанциями: Секретариатом СП СССР и районными жилищными комиссиями; осаждаемые сотнями и сотнями просителей, комиссии эти действовали лишь в полном согласии со строжайшими инструкциями и работали, в общем, по принципу "Москва слезам не верит..."

Словом, к тому дню и часу, когда Ксеня Некрасова неожиданно появилась в нашей "замовской" комнате и, бегло поздоровавшись с моими товарищами — Олегом Писаржевским и Юлием Чепуриным, — направилась прямо к моему столу, я несколько опешила. Как настоящий жилищник, я прежде всего подумала о том, что решительно ничем не сумею помочь Ксене: то, что она не член СП, непреодолимо лиша-

ло нас самой возможности поднять вопрос о ее жилище. Догадаться же о ее полной бесприютности было куда как нетрудно!

Так и не преодолев невольной неловкости, я сгребла в кучу бумаги на столе, встала ей навстречу, спросила неуверенно:

— У вас дело ко мне, Ксеня?

“Сейчас скажет о жилье, — думалось мне. — Что же ей ответить?” Но я ошиблась.

— Поговорим немного? — ответила она мне вопросом.

— Конечно, поговорим, сегодня я свободна.

Я усадила Ксеню, а сама выволокла кресло из-за своего служебного стола и уселась напротив. Она смирно ждала, пока я закончу свои хлопоты. Краем глаза я увидела, как мои товарищи, переглянувшись, один за другим вышли из комнаты. Наверное, и они догадались о некоторой необычности этого свидания и не хотели мешать.

— Я прочту вам стихотворение о моем столе, хотите? — спросила Ксеня своим тихим обычным голосом, словно беседа наша продолжалась уже давно.

— Хочу, — ответила я не сразу. Стихов Ксени я, признаться, не знала почти совсем.

В полной тишине, окружившей нас, Ксеня сказала мне довольно длинное стихотворение “о своем столе”:

Мой сто́л,
мой нежный
деревянный друг,
все ты молчишь,
из года в год стоишь
в таинственном углу.
О чем молчишь?
Чьих рук тепло ты бережешь?
Раскрой дарохраненье лет!

И тут в ее ровном голосе, без признака обычных "взрыдываний" в конце строк, я вдруг различила нотки доверчивости, безобманной, по-ребячьи чистой, какой вроде бы еще и не могло возникнуть между нами. И необычность самого стихотворения, и теплые эти нотки невольно смутили меня, и я застыла в своем кресле, страшась обидеть или спугнуть Ксеню лишним, суетливым движением...

А Ксеня, словно ощутив некое таинство дружелюбия, возникшее между нами, одарила меня ясной, распахнутой улыбкой и, сложив руки на коленях, где уместилась у нее ситцевая хозяйственная сумочка, явно пустая, принялась рассказывать, как сегодня ранним утром ехала она в пригородном поезде в Москву. Вагон мягко покачивался, неся в себе деловито-молчаливых людей, скорее всего заводских рабочих. А рядом с вагоном, за окнами, торжествующе шагала весна.

— Еще, Ксеня, если можно... прочтите, — услышала я свой голос, словно бы немного робкий.

Да, я сейчас хотела еще и еще услышать стихотворные строки Ксени, пока стояла между нами тишина, такая случайная, дарованная чуткой дружбой моих товарищей. Не молчи, Ксеня!

— Хотите "Утренний этюд"? — спросила она, глядя на меня со спокойной улыбкой: значит, увидела или скорее ощутила, поняла мою робость. Сейчас она "правила" нашей беседой, она властвовала в ней...

Первая беседа наша с Ксеней оборвалась внезапно. В комнату вернулись мои коллеги, рабочий наш день, видно, закончился, люди расходились по домам, в коридоре стало шумно.

Ксеня протянула мне руку совочком, я успела сказать ей: "Приходите еще", она ответила: "Я приду" — и быстро исчезла из комнаты, как будто здесь ее и не было.

Мне тоже следовало привести в порядок мой рабочий стол. Я сложила бумаги в папку, завязала шнурки и вдруг остановилась...

Мой стол,
мой нежный деревянный друг, —

сказала я вслух, и Олег Писаржевский тотчас же отозвался:

— Я знаю это стихотворение Некрасовой. — И, подумав, прибавил: — А никакого стола у нее нет. Да, наверное, и не было.

— Как не было? — удивилась я.

И Олег рассказал мне со слов его друзей-поэтов, что Ксеня снимала где-то далековато за городом не то тесную комнатушку, не то просто угол, где, кроме койки, вроде ничего и не стояло. А писала Ксеня на доске, какую укладывала на коленях. В теплое же время устраивалась где-нибудь на полянке, на пеньке, что был пошире, поровнее да покряжистее. Впрочем, верно ли это, Олег не ручался, в гостях у Ксени никто из рассказчиков не был...

Так началось мое трудное, медленное узнавание Ксени, ее жизни, ее судьбы. Я и сама старалась порасспросить о Ксене знакомых писателей, старых работников Союза писателей. И хотя случалось и так, что голова у меня пухла от противоречивых былей и небылиц, во мне самой крепло, росло изумление перед самой Ксеней и ее стихами. Она читала их наизусть, а то поглядывала в какой-нибудь листок из ученической тетради, читала своим спокойным, как бы обыденным голосом...

Я слушала ее, думала: может быть, и даже наверное, в основе Ксениного восприятия мира лежала кристально-чистая, безобманная прекрасная детскость, с властной силой живущая в этой ведь уж не столь

молодой женщине, за плечами у которой — я уже знала об этом — и беспризорность неустроенной жизни, и трагедия погибшей любви, и трагедия материнства, закончившаяся потерей единственного ребенка, когда мать хоронит вместе с бездыханным дитем половину разбитого сердца и омраченную память свою...

И тут в моих поисках подлинной, не затуманенной никакими рассказами истории жизни Ксени Некрасовой мне неожиданно и щедро помогла Елена Ивановна Авксентьевская, недавно ушедшая от нас, старейшая работница нашей библиотеки, умный и преданный друг и помощник писателей.

Из письма Елены Ивановны, написанного уже дрожащей рукой пожилого и больного человека, мне стало известно, что Ксеня приезжала из пригородного своего угла каждым ранним утром. Елена Ивановна, выполнявшая тогда, по собственному желанию увлеченного делом человека, самые разнообразные обязанности в библиотеке, тоже являлась сюда задолго до официального открытия. Ксеня уже поджидала ее, они здоровались, и Ксеня каждый раз спрашивала с робостью: "Не помешаю?" Елена Ивановна открывала ей читальную комнату, Ксеня усаживалась за один из столиков и погружалась в работу.

Помещение самой библиотеки было тогда тесноватым, но Елена Павловна ухитрилась на одном из стеллажей, вплотную забитых книгами, выделить местечко для Ксениных стихов, куда Ксеня складывала свои исписанные листочки. Елена Ивановна писала мне: "Первую книжечку ее стихов я сразу же купила для библиотеки. Но тех стихов, о которых вы написали мне, в первой книжке не было, это я твердо помню. Видимо, кто-то тщательно разобрался в Ксенином архиве и помог выпустить еще книжку. Если я доплетусь до библиотеки, возьму домой и прочи-

таю..." (Наверное, не успела она "доплестись" до библиотеки, очень уж была беспомощна).

А конец письма Елены Ивановны принес мне новость совершенно неожиданную: "А знаете ли вы, — писала она, — что у Ксени родился второй сынок, Андрюша*? Любила она его безмерно. Но у Ксени ведь не было жилища, хоть сколь-нибудь подходящего, и, должно быть, кто-то помог ей устроить ребенка в ясли, кажется, в какой-то другой город. И только потом Андрюша был перевезен в Москву. Ребенок немного подрос, и Ксеня иногда спрашивала для него книжку с картинками. Из библиотечного фонда я не могла выдать книжку и обычно по дороге на работу покупала для Андрюши книжечку понаряднее..."

Я перечитала несколько раз эти последние строки письма Елены Ивановны. Сынок Андрюша... Как давно это было! А ведь в наших долгих беседах Ксеня не сказала ни единого словечка о своем живом, сущем сыне. Почему бы это? Неужели я не поняла бы ее?.. И вот, значит, Ксеня дважды лишена была этого света материнства!

Должна признаться, что о Ксене писать трудно и даже страшно немного — не сказать бы не то слово, не обидеть бы память о ней, слишком много обид затаила она в своей душе и унесла с собою, незаслуженных, горьких обид, среди которых горчайшая — непризнание. Совсем не знала я тогда и слишком поздно узнала, что стихи Ксени переписал в свою тетрадь Алексей Николаевич Толстой, что поэтический талант Ксени высоко ценили Николай Асеев, Юрий Олеша, Михаил Михайлович Пришвин, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков...

---

* *Неточность: имя второго сына Некрасовой — Кирилл (Кирюша).*

И передо мною, ее читателем, Ксеня предстала полностью, лишь когда я наконец взяла в руки ее посмертный сборничек “Мои стихи”, заботливо составленный чутким ценителем ее поэзии Львом Рубинштейном.

И тут моя старая, но еще безотказная память подсказала мне: ошибаюсь я, о малыше Андрюше услышала я все-таки из уст самой Ксении. И это была самая трудная, даже мучительно-трудная для нас обеих и, кажется, одна из последних бесед перед нашей вечной разлукой.

Произошло это так.

Я сидела одна в нашей просторной комнате, когда дверь раскрылась и на пороге, как всегда, бесшумно возникла Ксеня, в своем цветастеньком, знакомом мне платье, с пустой сумочкой в руках.

— Вы устали, Ксеня? — спросила я, усаживая Ксеню на стул, и тут только разглядела немудрый цветочек из того же ситца, не то приколотый, не то пришитый на груди.

— Да, — ответила она, все еще не глядя на меня.

Мы обе помолчали, и я спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Да, — не сразу, отрывисто ответила она, трудно, почти со стоном вздохнула и подняла на меня свои темные глаза, полные такой муки, что меня словно ветром вынесло из-за стола, и я села напротив Ксени в привычной позе.

— Ну, Ксеня?

И, не спуская с меня измученных глаз, непривычно заикаясь, ища слова, она почти бессвязно рассказала о своем малом Андрюше.

Ей разрешили сегодня прийти на свидание с сыном, она постаралась хоть немного принарядиться и после долгого ожидания в ясельном садике вошла в комнату к детям. Наверно, она немного растеря-

лась, но сына все-таки нашла и узнала сразу... Вот тут все и случилось.

Малыш, оторванный от матери почти сразу же, когда мать и дитя как бы еще неотделимы друг от друга и живут как единое тело и единая душа, Ксенин сынок не узнал матери. А когда она попыталась приласкать его, он протянул ручонки к ясельной няне.

— Он не узнал меня, — тихо, почти шепотом повторила Ксеня. — Там почти ни у кого из ребятишек нет матери... Некоторые ведь отказываются даже от новорожденных... Но я-то ведь есть, мой-то не сирота. Мне бы взять его к себе...

Она круто замолкла, словно натолкнувшись на препятствие, и снова оглянулась на пустые столы моих товарищей.

— Они ушли, вернутся не скоро, — сказала я Ксене и тоже замолкла.

Что же мне ей ответить? Передо мной вставали две непримиримые и непреодолимые противоположности: ее материнская любовь и нежность, сами по себе, казалось бы, сметавшие все препятствия. И нужда, безгнездовье Ксени, ее обиход бродячей одиночки. Что же делать? Ксеня молчала, медленно, слабыми пальцами перебирала край своей сумочки. Она ждала.

— Ксеня, — сказала я каким-то чужим голосом и откашлялась, — Ксеня, давайте поведем материнский разговор. Не опасайтесь меня, я все понимаю. Давайте вместе подумаем, как это будет, если вы возьмете маленького.

Руки у нее замерзли, она подняла на меня отяжелевший взгляд. Что поделаешь, надо было решаться.

— Материнское дело очень счастливое, но и очень трудное. У вас нет надежной крыши над головой. Куда

вы положите мальчика? Чем накормите? Как уедете от него, чтобы заработать для него же хоть немного денег?

— Да, — тихо откликнулась Ксеня и покорно склонила голову. — Да. — Голова у нее опустилась совсем низко, и она пробормотала: — Я и сама так думаю. Да вот ничего не могу с собой поделать.

— Конечно, не можете.

Дверь в нашу комнату стремительно распахнулась, и, как всегда, в нее не вошел, а скорее ворвался Олег Писаржевский. "Я подумаю", — шепнула мне Ксеня, кивнула на прощанье и мгновенно исчезла.

Олег, милый торопыга, наш друг, мой друг, ныне покойный, обладал острым взглядом и сердцем, чутким к чужой беде. Он сразу, верно, учуял какую-то горькую нескладность в нашем разговоре с Ксеней. И как только закрылась дверь за нею, он подошел ко мне.

— Что-нибудь случилось? С Некрасовой?

Я ему коротенько рассказала о Ксениной беде. Он нахмурился, помолчал, я видела — соображает, прикидывает, чем можно помочь человеку, матери, поэту. Я ведь знала, что он ценил Ксеню вопреки многим иным судьям по настоящему, "гамбургскому" счету.

— Ну что же, — закончил он со своей легкой, обнадеживающей улыбкой. — Наша секция поэтов приняла Ксеню в члены союза. Поспорили, правда, но приняли. Теперь только бы утвердили в большом союзе. Но решение, сами знаете, предугадать трудно.

Он был прав: что решит Секретариат? Не вступят ли в силу ходячие, зыбкие представления о Некрасовой? И печатают ее так редко, и странноватая она, как бы отдельная от всех...

Итак, Ксеня ждала решения о своем приеме в Союз писателей. Она стала приходить ко мне или к нам

реже, но свидания наши продолжались. И тут довелось мне понять, с каким скрытым, жарким волнением она ждала решения своей судьбы. Теперь я видела Ксеню в клубе почти каждый день, пробовала позвать ее к нашему обеденному столу, — мне часто казалось, что она попросту голодна, — но всякий раз Ксеня отказывалась легко, с ходу, со своей рассеянной улыбкой.

Но вот как-то, проходя по ресторану ЦДЛ, я увидела Ксеню за столом в небольшой компании поэтов. По-видимому, они или кто-то из них угощал Ксеню обедом. Она неторопливо глотала суп, прямая, почти до неестественности серьезная. Жаркое с горкой картофеля стыло тут же, — очевидно, Ксене принесли весь обед сразу, и это — увы! — неоспоримо доказывало, по нынешнему выражению, в каком "непрестижном" положении состояла Ксеня в нашем ресторане. Компания за столом была шумной, и, видно, некоторые шуточки направлялись прямо Ксене. Она продолжала обедать с видимым спокойствием, только на лице ее промелькивала легкая, почти кажущаяся улыбка. И насколько же она, молчаливая, полная достоинства, отличалась от своих болтливых собеседников! Но мне сразу же болезненно подумалось: они-то здесь хозяева, они ЧЛЕНЫ СОЮЗА. А Ксеня всего только гостья, хотя и постоянная.

Да, несмотря ни на что, Ксеня была постоянной посетительницей клуба, она как бы "лепилась" к союзу, как птица лепится к своему гнезду.

И, наверное, вопрос о приеме или неприеме ее в Союз писателей вызывал у нее куда более сложные, более мучительные раздумья, чем у ее товарищей, болтавших с нею за ресторанным столом.

Позднее эту мою догадку трижды подтвердили ее стихи.

Неизменно шла она и шла к Дому писателей, в особняк с колоннадой, воспетый еще Львом Толстым. Она и воспринимала этот дом сложно, многогранно и по-своему неповторимо. Тут было и нечто вроде преклонения, и чуткое ожидание — что-то дом этот скажет ей, Ксене Некрасовой? — и жертвенная готовность ждать, ждать и ждать.

У нее и стихотворение есть "Дом Союза писателей", начинавшееся пророческими — в отношении судьбы самой Ксении — строками:

Нет к нему
ни дорог, ни шоссе...

И сама Ксеня свято верила, ходила в Дом писателей, преодолевая столь естественный в женщине стыд за свои бедные одежды, терпеливо, с тайным волнением, огромность которого так нетрудно понять, ожидала, чем же ответит ей Союз писателей?

И дождалась. Союз писателей на ее заявление о членстве ответил отказом.

По долгу штатного сотрудника рабочей части президиума московской нашей организации я обязана была присутствовать на заседаниях Секретариата СП СССР, которому мы тогда были непосредственно подчинены. Теперь не помню, кто председательствовал, — Фадеева не было.

Проголосовали с какой-то рассеянной поспешностью и перешли к другим вопросам. Я сидела ошеломленная. Ксеня ждала за дверями зала, я ее видела, идя на заседание. Ни одного возможного защитника — ни Асеева, ни Светлова, ни Смелякова в зале не было. Я только подумала: сиди на своем обычном председательском месте А.А.Фадеев, с его тонким, умным, любовным пониманием поэзии, не допустил бы он такой поспешности...

И тут передали записку. Кто-то из наших замов, скорее всего Е.Долматовский, просил меня выйти и сказать Ксене о решении, не маять человека зря.

Это было тяжкое поручение. Расстояние в несколько шагов до дверей зала я преодолела на свинцовых ногах.

Ксеня ожидала, стоя в двух шагах от дверей.

Я подошла к ней вплотную.

— Ксеня... — тут я поперхнулась, голос у меня стал хриплым. — Вам отказали.

Она продолжала стоять молча. Яркий ее рот был полуоткрыт, словно от жажды, а в опущенных руках угадывалась беспомощность предельная, горестная.

— Да. Спасибо. — Она облизнула сухие губы. — Я пойду...

Больше мы с нею не увиделись.

Елена Ивановна Авксентьевская в своем письме, в последних его, совсем уже неразборчивых строках, сообщила мне, что Ксене все-таки дали комнату, освободившуюся после переселения писателя. Но она, Ксеня, не успела даже обжить этой комнаты и внезапно скончалась.

Ничего об этом я не знала...

Татьяна Глушкова

К ПОРТРЕТУ КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ*

Поэтессы — с руками крестьянок застенчивых,
с озаренными давней кручиной глазами,
с полевыми в студеном кувшине цветами, —
поэтессы, не выученные наизусть!

---

* *Печатается по кн.: Глушкова Т. Белая улица. Стихи. М., 1971.*

Одиноко умершие,
ничего не умевшие, —
только слово, как птица, послушно руке...
Как устало глядит эта русая женщина
в этом клетчатом, синем, тревожном платке!

Ангелина Щекин-Кротова

ХУДОЖНИК И ПОЭТ*

Из цикла "Модели Фалька"

В конце войны мы вернулись из эвакуации в Москву, в нашу милую мансарду под самой крышей в доме на берегу Москвы-реки... Во время войны бомбежкой был разрушен дом рядом с нашим, и крыша наша сильно пострадала, стекла окон вылетели. Отопление не работало, маленькая чугунная печурка еле-еле обогревала нашу комнату рядом с мастерской. В мастерской царил собачий холод, потолок грозил обвалиться.

И вот как-то, разрывая старый журнал для растопки, Фальк наткнулся на стихи, поразившие его особой прелестью наивности, свежести и безыскусственной, непосредственной изысканности. В них не было рифмы, но была музыка, песенность, не было размеренного метра, а был свободный, как журчание ручья, ритм. Автором стихов была Ксения Некрасова. "Кто она? Откуда?" — стали мы спрашивать у всех литературных и окололитературных знакомых...

Кто-то познакомил ее с Фальком. Это было в 1945 году. И вот Ксана появилась у нас. Среднего роста, складненькая, с маленькими ногами в детских чулочках в резинку, в подшитых валенках. На круглом

Печатается с сокращениями по кн.: Панорама искусств. Вып. 8. М., 1985.

лице с широко расставленными карими глазами блуждала детская, радостная, слегка бессмысленная, вернее, какая-то отрешенная улыбка. Ей было уже за тридцать, а она походила на деревенскую девчушку.

Войдя в комнату, Ксана протянула мне дощечкой руку и произнесла: "Здравствуйте! А я Оксана Александровна Некрасова, поэт", — при этом она выговаривала все слоги четко, сильно окая. Сбросила валенки и, пройдя в одних чулках через комнату, уютно устроилась на нашей тахте. Я стала хвалить ее стихи. Ксана приняла мои комплименты спокойно, даже величественно. И вдруг словно увяла, лицо ее стало сонным, глаза сузились. "Можно я прилягу?" — и, не дождавшись ответа, повалилась на тахту, свернувшись, как котенок. Наш кот тотчас же присоединился к ней и громко замурлыкал от удовольствия. Вообще, как потом мы заметили, к Оксане тянулись и животные, и дети. С ними она умела играть "на равных", сама, как дитя, увлекалась игрой.

Ксана, в общем-то скромная, неприхотливая, по-детски радующаяся миске горячей похлебки, умудрялась все же заполнить все пространство комнаты своим маленьким складным телом и своим пронзительным распевом голоса. Никогда нельзя было угадать, что она сейчас предпримет: начнет ли читать стихи, прервав нашу беседу, потребует ли еды, уляжется ли спать, не обращая ни на кого внимания. Если засыпала, то во сне часто громко что-то декламировала, "вещала", как говорил Фальк. Но вот Ксана видела, что она нас изрядно утомила, и тогда (хитрости у нее на это хватало) она смирно усаживалась и начинала читать свои стихи. И если они были хороши, мы опять некоторое время покорно терпели те неудобства, которые общение с ней доставляло.

Особенно нравились Фальку стихи о Средней Азии. Мы ведь сами недавно были там, и хотя много тяжелого пришлось пережить — это были самые трудные годы войны, — мы помнили только хорошее: природу, пейзаж, где город вписывался органично в сады и пески, где многие люди были к нам добры, где Фальк самозабвенно писал.

Ксана тоже прошла по Азии тернистыми путями, видела много страшного, изведала горе — потеряла там мужа и маленького сына, бедствовала, голодала. В Ташкенте кто-то познакомил с ее стихами Анну Ахматову. При ее содействии Ксана вернулась в Москву. Память ее не сохранила ни капли горечи в стихах об этом времени. Наоборот, стихи ее полны "бесконечного восхищения жизнью" (это выражение из "Утреннего этюда").

Фальку очень нравились точной изобразительностью стихи "Чеснок". Отмечал Фальк в стихах Ксаны удивительные "зрительные находки", целый ряд неожиданных и точных метафор: сирень подымает к солнцу цветы, "как голых детей, обнажений своих не стыдясь", у охотника за спиной висит убитая лиса — "лоскут осени", "босоногая роща всплеснула руками и разогнала грачей из гнезда", на снегу "крестики сорочьих лап, как вышивки девичьи на холстах". Вечером избы сидят птицами на склонах гор и глядятся в озеро желтыми глазами окон, девочка полощет небо в речке и развешивает сушиться на новой лыковой веревке, поэту кустики цветочков возле пня увиделись городом фиалок, а цветок картофеля — готическим храмом и т.д. Много таких "жемчужинок" в стихах Ксаны! А меня пленяла добрая сказка — "Сказка о воде", о том, как у источника "между двух гор с бараньими лбами" поэт, то есть автор, Ксана, увидела женщину, "прядущую воду"... Между прочим, я как-то

спросила ее: "А видела ли ты там женщину или еще кого-нибудь у источника?" Ксана отвечала: "Да, конечно, видела, вот как тебя сейчас". — "И она пряла?" — "Пряла!" — "Воду?" — "Может быть, и воду..." Вопросы мои были дурацкие, но мне хотелось знать — помнит ли Ксана, что она фантазировала, или уверовала в свои фантазии?

Анне Ахматовой Ксана посвятила прелестное стихотворение — в Ташкенте Ахматова идет по улице под цветущими деревьями, и тени от них ложатся к ее ногам:

Голова седая,
а лицо как стебель,
а глаза как серый
тучегонный ветер...

Царственный, женственный образ!

Странно, но Ксана никогда не вспоминала Ахматову, а как-то на мой вопрос, как она относится к поэзии Ахматовой 40-50-х годов, она промолчала. Ксану вообще не очень-то интересовали стихи других поэтов. Она любила свою поэзию и всегда была полна ею. Когда Фальк принимался ее рисовать, он просил ее читать свои стихи, что она охотно делала. Когда она уставала, я сменяла ее и читала ей мои любимые стихи: Тютчева, Мандельштама, Пастернака. Выслушав благосклонно три-четыре стихотворения, она прерывала меня: "Довольно! Что ты заваливаешь опавшими листьями мой ручеек, мой родник?" Тогда Фальк просил меня читать ей ее собственные стихи, многие из них я записывала под ее диктовку, знала наизусть и, обладая способностью к имитации, читала их ее голосом, с ее интонацией. Ксана слушала меня очень внимательно и прекрасно позировала при этом.

Она часто сочиняла стихи тут же, лежа на нашей тахте. Сначала она что-то бормотала, как во сне, а потом громко, дирижируя пальчиком, повторяла две-три строчки и кричала мне: "Запиши, запиши, а то я забуду!" Записанные мною на листочках "заготовки" она забирала с собой, укладывала в канцелярскую папку с завязками, которую всюду носила с собой. Дома она, очевидно, обрабатывала эти заготовки. Я узнавала их в ее новых стихах. Я видела в ее тетрадках варианты одного и того же стихотворения. Она много раз возвращалась к одному и тому же образу, к одной и той же метафоре, приращивая к ним, то сверху, то снизу, все новые и новые строки. Я больше люблю ее стихи, которые написаны как бы на одном дыхании, которые льются непрерывно. Такие, например, как эти:

И ели недвижны,
и небо недвижно,
и снег на деревьях
лежит неподвижно.

И только змеится
заснеженный воздух
струеньем снежинок
с высот на подножье.

Писала Ксения совсем детским почерком и делала невероятные орфографические ошибки. Писала, как слышала. Слово "еще" изображала так: "исчо" — орфография максимально приближена к фонетике. Но что касается знаков препинания или распределения строк "лесенкой" — она была непогрешима. Была одарена каким-то сверхъестественным чувством ритма, никак не укладывавшимся в строгий метрический размер.

Источник поэзии Некрасовой — народная песня, былина, сказ, сказка. Она прекрасно это сама знала и выразила в стихотворении "О себе" удивительно образно и четко... Фальк говорил, что следующие строки ее стихов напоминают ему плач Ярославны из "Слова о полку Игореве":

Что ты ищешь, мой стих,
преклоняя колени
у холмов погребальных?
Для чего эти листья осины
у тебя в домотканом
подоле лежат?

О, поэт!
Это ж слезы,
и плачи,
и вопли
я собрал на могиле
у наших солдат.
Ты возьми их –
и сделай весну.
Слышишь, аисты
крыльями бьют
на семи голубых холмах?

...Она осознавала свое значение поэта, держалась порою прямо-таки величественно. И в то же время она казалась порой совершенным ребенком, наивным, непосредственным. Она была легкоранима, ее можно было невзначай обидеть, огорчить, но так же легко она утешалась и осушала слезы. Любому, самому незамысловатому подарку она радовалась, хохотала, хлопала в ладоши.

Очень хотелось ей иметь какие-то украшения: колечко или брошь. Она просила меня: "Ну подари мне что-нибудь, пусть маленькое, но драгоценное — хоть какой-нибудь брильянтик, хоть жемчужинку". Но у

меня самой ничего не было, ни единой побрякушки. И тогда я ей посоветовала сочинить себе драгоценности в стихах... Так родилось прелестное стихотворение "Кольцо".

Да что драгоценности!

А у Ксени в действительности не то что драгоценностей, но даже самых необходимых вещей не было. Жила она, как птица небесная, — то в углу дворницкой в Союзе писателей, то в избе бабки-колхозницы. Союз писателей оплачивал снятый ею какой-нибудь угол или каморку. Одно время она обитала в поселке Болшево, за городом. В Болшево жил знакомый Роберта Рафаиловича — Сергей Николаевич Дурылин (1877-1954, историк литературы, искусства, театральный критик, поэт, беллетрист — *Л.Б.*). И как-то Фальк, навещая его, зашел и к Некрасовой. Вот что он очень подробно, под впечатлением, рассказал: изба, совсем маленькая, в два окошечка. На стук в дверь вышла хозяйка, старушка. "Ксюши дома нет, с утра в Москву уехала. Да вы заходите! Она в горнице, а я на кухне, так и живем". "Горница" представляла собой часть избы, отгороженной от кухни с русской печкой дощатой перегородкой. У окошка — чисто выскобленный стол, на нем известная уже нам папка, пузырек с чернилами, глиняная плошка. В ней две вареных картофелины "в мундирах", на листочке бумаги возле — горсть серой соли, деревянная ложка, кухонный нож. На широкой лавке свернутый войлочек, тощая подушечка в ситцевой наволочке. На гвоздике у двери висит одно пальтишко. И очень чисто, ни соринки. Побывав в этой келейке, Фальк понял, что Ксане легко было у нас чувствовать себя "как дома", как говорится, в своей тарелке, потому что и наш быт был очень аскетичен, даже и тогда, когда постепенно после войны все более или менее вошло в свою

колею: крышу починили, окно вставили, отопление включили.

В стихотворении “О художнике Р.Ф.” Ксения пишет, сильно романтизируя наши хоромы:

В Замоскворечье живет
живописец.
Роскошнейшие убранства
от купола до половиц
неостывающими светилами
мерцают из тихих рам...

Ксана любила приходить в это "пристанище" не только чтобы отдохнуть, перекусить чем бог послал, но и побывать в обществе людей, близких ей по духу. В этом же стихотворении она пишет о тех, кто приходил к нам иногда по воскресеньям на “просмотры” картин или, как это называл Святослав Рихтер, на “концерты Фалька”.

Сходились юноши сюда
с неуспокоенной душою,
седые женщины
с девичьими глазами
и убеленные снегами
художники.

И, конечно, ей очень хотелось в этом обществе почитать стихи. Что она неукоснительно и делала, упрашивать ее не приходилось. Наоборот, вначале она внимательно смотрела картины, делала меткие замечания, но потом она быстро уставала и все порывалась опять читать свои стихи. Тогда я уводила ее из мастерской в комнатку, соблазнив нехитрым угощением: стаканом молока или оладушком. После чего она мирно засыпала. Фальк не любил, чтобы во время его “концертов” велись разговоры, рассужде-

ния, и, показывая картины, молча ставил их на мольберт и отходил в сторону. Когда ему вдруг задавали "ученые" вопросы: "Что вы хотели выразить в этой картине?" или "Какую идею вы преследовали здесь?", — он смущенно пожимал плечами. Когда зрители уставали (больше 10 или 15 картин подряд он не любил показывать), Фальк охотно рассказывал о своих путешествиях, встречах — это были настоящие новеллы. Он много интересного повидал в своей жизни и умел увлекательно рассказать об этом. Иногда он... фантазировал не хуже Ксаны...

Но вот, всласть насладившись духовной пищей, гости расходились. Оставался кое-кто из "неприкаянных", одиноких людей, которых дома никто не ждал (Фальк удивительно умел пригревать таких). Изрядно проголодавшийся хозяин, выспавшаяся Ксана, "неприкаянные" садились вокруг большого стола в мастерской, а я доставала из-под подушки закутанную в газеты большую кастрюлю с перловым супом или сваренной "в мундирах" картошкой. Уплетая горячую картошку с соленым огурцом, Ксана грустно замечала: "А вот к писателям зайдешь (имен я не называю. — *А.Щ.-К.*) — то в горницу не зовут, на кухне домработница на скорую руку покормит". При жизни Ксаны не так уж много дверей для нее были открыты и "в горницу" редко кто ее пускал. Зато теперь объявилось много друзей, покровителей, почитателей у покойного поэта. Отдохнув "душой и телом", Ксения отправлялась бродить по улицам Москвы.

"Когда неверие ко мне приходит, стихи мои мне кажутся плохими...", "и собирать поэзию иду вдоль улиц громких". Поэзия — встречи с людьми, с их трудом, с их неповторимым, всегда очень зорко увиденным обликом. Ксения умеет "лица прохожих читать, как лучшие стихи": "вон детский врач идет с улыбкой

Джиоконды", "две ножки в пестрых босоножках девчонку дерзкую несли... навстречу ей студенты шли, веселья звучного полны, с умом колючим за очками" (стихотворения "Исток", "Улица"). А вот "утренний автобус", в котором люди едут на работу:

Люблю я утренние лица
людей, идущих на работу, –
черты их вычерчены резко,
холодной вымыты водою.

И Ксана пристально всматривается в эти лица: "все пассажиры читают газеты", вот входит уборщица, парень в спецовке уступает ей место и т.д. — с какой любовью она описывает эти идиллические сценки, придавая им величие эпоса, прославляющего наше время. В толпе попадаются ей на глаза и не столь прекрасные люди: "нарядный гражданин", у которого "лицо с капканьими зубами" и "вместо глаз хорьки сидят", косясь "в сторону наживы".

Город у Некрасовой ("Улица", "Вокзал", "Здоровенные парни", "Дневное кино в будни") — живые, точные натурные сценки, острые зарисовки, но при этом ее город — величавый, романтический: "город встал, касаясь облаков", "взволнованных мечтаний город полн...", "он вечно улицами молод и переулками бессмертно стар..."

Любил Фальк ее "Подмосковье", где "сердитоглазые официантки, роняя колкие слова" обслуживают сезонников с медвежьими аппетитами в деревенской столовой и "старушка-выпивушка у стола сидит и умильно, и сердечно на друзей глядит...", или "Песенку" с ее частушечной удалью, где бригадирша из колхоза выезжает на базар "и, крутя над головой конопляною вожжой, взор бросает соколиный вдоль по улице рябинной".

Очень нравились Фальку стихи о деревне, такие как "День" с его предвечерней тишиной, деревьями в инее, сладостной усталостью после целого дня труда. "Многие женщины, я знаю, — говорил Фальк, — любят стирку, но так буднично жалуются после на усталость, а у Ксаны — торжественная праздничная месса!"

Как-то прочла Ксана нам свои стихи о любви ("только начало", — сказала она):

Когда стоишь ты рядом,
я богатею сердцем,
я делаюсь добрей
для всех людей на свете...

Очень редко женские любовные стихи бывают так целомудренны. "Об этом очень трудно писать, не знаю, как дальше..." "И не надо, — сказал Фальк, — вполне достаточно". Так у нее и осталось — только начало.

Ксана никогда не доверяла мне, да и другим нашим знакомым, "женских тайн", "романтических историй". Рассказывала она мне только о своем первом ребенке, который погиб в эвакуации. Рассказывала три варианта этой смерти: один раз Тарасик погиб будто бы от осколка бомбы, другой раз — умер в Ташкенте от брюшного тифа, третий — от голода, в степи, у нее на руках, когда она убегала от своего сошедшего с ума мужа. Каждый раз я верила, невозможно было не верить, так убедительно она рассказывала. Мы обе каждый раз плакали...

О своем происхождении, о детстве рассказывала совсем фантастические истории: то будто бы крестила ее в тюрьме дама-аристократка; под темной вуалью в черной карете она приезжала ее навещать, свидания происходили в глухом лесу; то будто бы она родилась от царевны Ксении, дочери царя Николая II,

и Григория Распутина, а воспитывалась строго, в старообрядческих скитах; то вдруг возникал другой вариант: богатая семья инженера, громадный дом на берегу озера на Урале, ее баловали и нежили как единственную дочку...

Не похоже было, что Ксения лгала сознательно. Она фантазировала, как фантазируют дети и поэты. Она была поэтом несомненно, но, может быть, еще больше она была ребенком — дитя природы. Может быть, эти детскость, наивность и простодушие и сохранили ее для поэзии? Помню, как приехала она к нам на дачу в Хотьково — мы снимали там на лето комнату на пыльной улице, зато вид из окна очень нравился Фальку, а на терраске свет, просеянный сквозь густую зелень старых лип, создавал благоприятный колорит для натюрмортов с живыми цветами. Приехала Ксана, усталая и очень расстроенная. Стала жаловаться, что понесла в редакцию "Правды" стихи о Ленине, а там ей сказали, что так о Ленине писать нельзя и вообще ей следует писать "попроще". Она прочла нам эти стихи. Они действительно были очень непростые, со множеством сложных метафор (стихи эти не сохранились, а я не успела тогда записать). Затем она прочла нам новое стихотворение "о простом предмете" — "Лопата". Фальк накинулся на нее: "Зачем вам это надо? Вы же настоящий поэт, будьте сама собой, не слушайте благоглупостей и "практичных советов". И тут Ксана заплакала: "Да ведь хочется, чтобы меня печатали, хочется книжку свою увидеть..." — "Слушайте, Ксана! Это очень серьезно. Мне ведь тоже хочется увидеть выставку своих картин. Однако я не буду писать по указке, из "практических соображений". Вы видели, сколько картин стоит у меня в мастерской лицом к стене? Надо оставаться верным себе".

“Ах! Да что они от меня хотят? Я вот как та береза — растет, шелестит, радуется, пахнет...” — и она показала роскошную березу за окном.

Напрасно боялись редакторы, что стихи Ксении “непонятны массам”, что они ничего не говорят рабочему человеку. А я помню такой случай: возвращаюсь домой, вхожу в вестибюль нашего дома, вижу, что у столика нашей лифтерши Катерины Ивановны (консьержки, как называл ее по-парижски Фальк) целое собрание: сидят на диванчике, на подоконнике, на принесенных откуда-то табуретках женщины — уборщицы, домохозяйки, дворник. В центре этой “летучки” — Ксана, читает свои стихи. Я как раз вошла, когда она читала стихи о покинутой жене:

И цветет рябина
горьким белым цветом
у окна покинутой жены.
На ветвях рябины
почему-то птицы
гнезд не вьют весенних,
песен колыбельных
не свистят в листве...

Некоторые слушательницы утирали слезы. А на следующий день Катерина Ивановна одобрительно сказала мне: “Ха-рошая твоя знакомая писательница. Ажно за душу берет, как читает. И все как есть правда!”...

Несколько листов, выполненных Фальком карандашом или углем, передают облик Ксаны в разные годы, в разные моменты ее жизни. В одних она все еще молодая девчушка, которая пришла к нам сразу после войны. Например, в том рисунке, который помещен на фронтисписе сборника “Мои стихи”. Или в пастельном этюде из собрания Литературного музея

в Москве. В других — немолодая женщина, с тяжелым лицом, с трудной судьбой.

Как-то Ксана пришла к нам в новом платье. Это Лиля Яхонтова (Е.Е.Попова-Яхонтова — *Л.Б.*) сшила ей красное бумазейное платье, а Ксана нанизала себе бусы из фасоли. Вот в этом-то платье в 1950 году написал ее Фальк. Ксана сидит на табуретке, сложив на коленях маленькие руки. Ножки в черных ботинках чуть выглядывают из-под подола. Карие глаза смотрят настороженно и задумчиво, чуть склонена голова к плечу... Фальк увидел ее здесь очень русской, хотел вылепить ее как бы из одного куска глины, как вятскую игрушку. Он удивительно верно передал здесь все самое в ней очаровательное: ее поэзию, ее чистоту, хрупкость и в то же время что-то очень простодушное, здоровое, простое! Ксане сначала этот портрет не понравился. Видно, она представляла себя как-то совсем по-иному. "Почему он написал меня так запросто? Я ведь изысканная". — "Здесь ты очень похожа на твои стихи". — "На стихи? Да, это мысль!" И она ушла вполне утешенная. А впоследствии она очень любила, когда Фальк среди прочих работ показывал своим гостям и ее портрет. Цветное воспроизведение портрета помещено в сборнике "Ксения Некрасова. Стихи" (Москва, 1973 год). Портрет находится в собрании Государственного Русского музея в Ленинграде. Москвичам он известен по выставкам: выставки — в 1962 году 30-летия МОСХа, произведений Р.Р.Фалька в 1966 году в МОСХе и в Центральном Доме литераторов в 1967 году. На вечере памяти Ксении Некрасовой в Доме литераторов и в Доме художника в 1972 году портрет также был показан.

Из всех стихотворений, посвященных Ксане, наиболее емкими и проникновенными я считаю стихи Ярослава Смелякова...

Владимир Попов

К ПОРТРЕТУ КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ*

На старинном-старинном Арбате,
а быть может, в Замоскворечье,
будет женщина в красном платье
в мастерской художника Фалька,
тихо руки сложив на коленях,
на простом табурете сидеть.

На огонь она будет смотреть...

Будет чайник зеленый урчать
и греметь очумевшею крышкой
на железной проржавленной печке.
Будет голубь топтаться на крыше
и заглядывать тайно в окно
золотым немигающим глазом.

Это было.
Но было давно.
Уже нету того человека,
что насмешливо смешивал краски
голубые — с зеленым и красным
на суровых нитках холстины.

Остаются стихи и картины.

---

* *Печатается по кн.: Попов В.. Луч света на бревенчатой стене. Стихи. М., 1985.*

Марк Соболь

КСЮША*

Правду, правду, ничего, кроме правды... Как же рассказать о Ксюше, при жизни вроде бы юродивой, после смерти осененной легендой?

В пятидесятых годах на выставке в Манеже художник Фальк ("портреты насыщены... образной выразительностью" — "Советский энциклопедический словарь", 1983, стр. 1391) представил полотно: поэт Ксения Некрасова. В ту пору эти имя и фамилия ничего не говорили ни зрителю, ни читателю, редкие исключения не в счет. Роберт Рафаилович Фальк был далеко не в почете: "вульгарный натурализм", "клевета на советскую женщину" и прочие тому подобные сентенции мудрых искусствоведов и резвых критиков то и дело выстреливались с трибун и печатных страниц.

А портрет поражал точностью. Невысокая, грузноватая для своего роста, отродясь не ведавшая косметики (ожерелье из натуральной фасоли), в простом и просторном платье, думая о чем-то своем — только не о том, как она будет выглядеть на портрете, — сидела обыкновенная русская баба. Сказав "баба", я спокойно подставляю свою шею под оплеухи знающих термины "вульгар" и "шокинг", но весьма туманно представляющих себе, что это за птица "московская просвирня", у которой Пушкин советовал учиться русскому языку. Впрочем, продолжу о портрете Ксении — точнее, о ней самой.

Не знаю и не пойму никогда, как Фальку удалось написать ее глаза, ее взгляд. Загадке улыбки Джоконды посвящены тома. Наш художник не Леонардо, и Ксюша не Мона Лиза, к тому же, как известно, мы

** Печатается по газете "Литературная Россия" (1987, 10 июля).*

ленивы и нелюбопытны. Ничем не привлекательная на вид женщина смотрит с портрета так, как могла бы, наверно, смотреть мать Аэлиты.

Ксюша писала свои стихи огромными буквами на больших листах бумаги. Литеры шли вкось и вкривь — иногда, впрочем, в идеальном порядке; в этих редких случаях она сама любовалась строчками: не смыслом, а начертанием — вот, мол, как красиво получилось.

— Бред, — сказал я однажды, прочитав такую страницу.

— Но до чего организованный! — возразила Ксения.

Сейчас нелегко признаться, но мы в общем-то не интересовались тем, как она — житейски и материально — существовала. По-моему, своего жилья у нее не было. Стихи не печатали, денег не было тоже. В каждой деревне есть свой блаженный — так ее и воспринимало интеллектуальное писательское сообщество, с полудня до полуночи то заседавшее, то закусывающее в дубовом, с огромной люстрой и витражными окнами зале нашего клуба, теперешнего Центрального Дома литераторов.

И точно так же, как в деревне дурачка то жалеют, то смеются над ним, так и Ксюшу порой подкармливали, иногда просто отмахивались о нее, а то, случалось, издевались. Особенно, когда на собраниях она рвалась на трибуну. Я не помню случая, чтобы ей дали слово. Может быть, в ту суровую пору это было правильно.

Первую ее книгу сделал благороднейший Степан Петрович Щипачев. Он, бывший пастух, научился грамоте чуть ли не в двадцать лет, но интеллигентность и чуткость были заложены в нем, я думаю, генетически. Степан Петрович проделал немыслимый труд — из тысяч страниц выбрал несколько волшебных

стихов и строк. Получилась тоненькая книжица. Меня она огорошила и восхитила. У поэта появился читатель, порой восторженный. Отношение к Ксении Некрасовой заметно изменилось.

Ни капельки не изменилась только она сама. Разве что некоторое время обедала за свой счет.

Вскоре она получила наконец комнату. Иногда Ксюша и я оказывались вместе в кино "Прогресс", расположенном как раз посередине между нашими домами. На комедиях она никогда не смеялась, хотя вообще-то прекрасно понимала юмор, только как-то на свой лад. Однажды я спросил, неужели ей не смешно. Понимаешь, сказала она, в детстве я перенесла энцефалит... Я более чем понимал: именно это так страшно изломало всю ее последующую жизнь.

И умерла она необычайно. По крайней мере, так мне рассказывали. Вдруг заявила соседке: "Завтра я умру" — вечером переоделась во все чистое, деловито изложила какие-то поручения и назавтра была мертва.

Я отвлекся. Я хотел во многих своих записках рассказывать о забавном. Впрочем, на этом свете нет ничего забавнее, чем рождение, судьба и смерть... В моем возрасте это начинаешь понимать все отчетливее.

Ксюша часто казалась дурочкой, но среди истинных мудрецов была бы, несомненно, в своей компании. В меру образованная, она профессионально много прочла и знала. Я опасливо отношусь к частым цитированиям классиков, литературным параллелям и ассоциациям, но тут согрешу: "Гений, парадоксов друг", — сказано Пушкиным, — коли так, она имела хотя бы одно свойство гения. Уверен, что Велимир Хлебников, когда бы знал Ксению Некрасову, мог бы сказать: мы одной крови — ты и я.

Вряд ли из сочувствия, скорее из интереса, ее приглашали за ресторанный столик, а потом, разомлев и выяснив, что ей негде ночевать, со скрипом душевным иногда предлагали временный кров. Большинство из нас проживало тогда в "коммуналках" или — чаще — в снимаемых комнатах, — потесниться, особенно ребятам семейным, непросто... Но Ксюша была, при всей нищете своей, женщиной деликатной и опрятной, и ее — мы, порой иронически воспринимая, все-таки всерьез жалели. Что-то в ней было удивительно привлекательное: тайное, но угадываемое...

Примечание для любителей "клубнички": проявить к ней нечто большее, чем простое гостеприимство, мог бы разве что Федор Карамазов, но таковых среди нас не числилось.

Ночевала она не раз и у меня — до получения нами обоими собственного жилья — в пятиметровой комнате на Тверском бульваре, отапливаемой дровами, да еще в форме буквы "г". Моя ныне покойная жена Валя относилась к ней нежно и, пожалуй, чуть покровительственно. Должен сказать, что Ксюша сама никогда ни у кого впрямую не просила ни еды, ни ночлега.

Вот рассказ поэта Ивана Баукова, тоже ныне покойного. У него — везет же людям! — было два смежных чуланчика в переделкинском доме барачного типа.

— Ксюша приехала ко мне, — рассказывал он, — я ей на топчан старую шинель постелил. Только стал засыпать: стук в дверку, — Вань, а Вань, дай мне ваты!

Пошел по соседям, разбудил, извинился: женщина, поди разберись.

Снова заснул, но ненадолго: она опять в дверь колотит, — Вань, а Вань, достань бинтика!

Соседи обложили меня — глухая ночь уже была, — но кусок бинта дали. Держи, говорю, горе ты мое.

Через четверть Ксюшка опять стучит: нет ли иголки с ниткой? Слава Богу, хоть это у меня нашлось.

Сон пропал, голова трещит, кручусь под одеялом... И тут, безо всякого стука, дверь отворяется, и на пороге — она! Вся в белом, как святая. И сияет, честное слово. Только нимба над головой не хватает.

— Ваня, погляди, каких я куколок наделала!...

Этот рассказ Баукова я слушал не один — рядом был Давид Самойлов, а он-то уж не даст мне соврать.

Закончу о Ксюше одним ее монологом. Тут свидетелей не было: разговаривали двое — она и я.

Кто-то, наверное, обидел ее в тот вечер. Или она была очень голодна. Я сидел в одиночестве за ресторанным столиком.

— У тебя есть три рубля? — спросила Ксения. И заплакала.

Я всполошился. Ксюша просила одолжить ей деньги лишь в самых безвыходных случаях. А плакала редко, без всхлипываний, без гримас, только из глаз тихо, как бы независимо от нее, катились слезы. У меня, по счастью, на этот раз деньги были. Но прежде всего я усадил ее рядом и заказал ужин.

Ксения поела и оттаяла. Она разом забыла про все беды.

— Знаешь, где я сегодня была? В зоопарке! Иду мимо пруда и вижу: плывет лебедь. Я посмотрела на него и вдруг подумала: это же импрессионизм! А потом увидела пеликана: это же натурализм! А потом проплыла уточка: это же реализм. Понимаешь, все направления в искусстве, в литературе все "измы" — они сами по себе есть в природе, мы не изобрели их, мы лишь пытаемся воплотить то, что давным-давно существует в мире до нас. Только мы порой слишком поздно это угадываем...

Вот тебе и Ксюша!

Лариса Федосова

КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ*

Она — не отсюда.
В малиновом мягком берете
И в этом пальто
с оттопыренным воротником.
На этих дорогах, на манной ходячей диете,
С гудящим безудержным сердцем,
и болью — тайком...
Ну что ж говорить — если нету до слов ее дела?
И годы проходят, и щеки стремятся пылать...
Но что б ни ждало, как бы странно порой
ни глядела,
Она не умеет (или не желает)
в жилетку рыдать!
Она еще вспыхнет по новому маю и кругу,
Она еще искры рассыплет сияющих глаз.
И кто-то обнимет ее — дорогую подругу,
И кто-то поймет — хоть на миг — обездоленных, нас...

Петр Вегин

* * *

Жила-была Ксения Некрасова**
вдали от литкарнавала.
Любовью да и лекарствами
жизнь ее не баловала.

** Печатается по журналу "Студенческий меридиан", (1987, № 7).*

*** Печатается по кн.: Вегин П. Над крышами. Стихи. М., 1979.*

Одна — без роду, без племени...
Но по линии стиховой
она Сергею Есенину
меньшою была сестрой.

Слава ее не сватала,
но чудо ее стихов —
пробившееся в асфальте
семейство белых грибов!

И если охапку сирени
удача мне бросит легко,
обламываю для Ксении
ветви, где пять лепестков.

К чему теперь объяснения
ей — жительнице библиотек!

Воскресное всепрощение
растянуто на весь век...

Божидар Божилов

КСЕНИЯ НЕКРАСОВА*

Ксения, Ксения,
стихотворения
множатся в мире —
бездна словес.
Но от их умножения
не увеличивается их вес.
А вот
после стольких лет

---

* *Печатается по рукописи перевода.*

ты оживаешь во мне снова,
глаз твоих не меркнет свет
в глубине самоцветного слова.
Голос твой то громок, то тих.
По-детски наивна ты.
Остается от строк твоих
ощущение чистоты.
Не чины, не блага!
Ни денег, ни дома нет.
Над тобою флага
багряный свет.
Не нужны восклицания, преувеличения
там, где уместен душевный привет.
Ксения Некрасова!
Ксения! Ксения!
И после смерти ты тот же поэт,
ты поэт и после своего воскрешения,
подпись твоя, по-детски корявая,
так доверчиво глядит на меня.
Ксения — ошеломляющее олицетворение
этого светлого зимнего дня.

Перевел с болгарского Лев Озеров.

Лев Рубинштейн

САМАЯ КРАСИВАЯ*

Мне подарили цветы. Они мне были ни к чему. Я вышел на улицу и решил отдать их какой-нибудь женщине, только некрасивой. Наконец остановил одну — низкорослая, с маленькими темными глазами. Она приняла букет с учтивой улыбкой.

---

* *Печатается с сокращениями по кн.: Рубинштейн Л. На рассвете и закате: Воспоминания. М., 1975.*

Потом я встретил ее около ЦДЛ, и она, узнав меня, пригласила погулять. И тогда назвала себя: Ксения Некрасова.

— Ксения, — сказала она, — по-гречески значит странница. Странница я и есть.

Мы с нею сидели на пятачке у Спаса-на-Песках. Она рассказывала:

— Детство мое прошло великолепно... Отец был горным инженером. Жили между Ирбитом и Шадринском, вблизи Егоршинских каменных копей.

Тянуло свежевыпеченным хлебом, грело солнышко. Ксения рассматривала старуху, сидящую с зажмуренными глазами на другой скамейке, на припеке.

Затем повернулась ко мне и напевно, как псалмы, читала свои стихи:

> Колебля хвойными крылами,
> лежал Урал на лапах золотых.

Белый стих снежной дорогой стелется, внезапные подрифмовки звенят, словно колокольчики на санном пути, — что-то наивное, детское, с необычайно живой ритмической игрой.

Впечатления детства как сказки. Они раз и навсегда расцветили ее жизненный путь.

Присмотревшись к ней, я начал догадываться: много горя хлебнула Некрасова, много плохого видела. Время лечит, обиды забываются:

> А в конечном счете остается
> солнце, утверждающее жизнь.
> *("Раздумие")*

Позже я узнал, что она рассказывала о своем "великолепном детстве" не только мне, но и многим другим. И лишь спустя годы я прочитал ее подлинную автобиографию:

“Родилась в 1912 году. Родителей своих не помню. Взята была из приюта семьей учителя на воспитание”.

Мне, может быть, больше чем кому бы то ни было понятны чувства Некрасовой. Я сам тоже рос без родителей, в детдоме, и меня тоже опекали посторонние. Но никому из нас, оставшихся без родных, никогда не хотелось обнажать свои душевные раны. Человек должен быть гордым. Мы не писали этот закон, он вытекал из всей нашей жизни.

Ксения как женщина была наделена чувством жалости еще больше, чем наш брат. Ее до боли трогало чужое несчастье, но свое она никому не показывала. “Счастье поэта должно быть всеобщим, а несчастье обязательно конспиративно”, — утверждал Светлов. Ксения не лгала, когда говорила о своем чудесном детстве. Оно действительно было чудесным в ее понятии. А вот как было на самом деле. Она жила в приюте, воспитывалась у учителя не на правах удочеренной, а как чужая. В приюте не было места. Учитель получал плату за содержание девочки. И, вероятно, не деньгами — деньги тогда не играли роли, — а натурой. Давайте еще раз вспомним, что это было за время,— империалистическая, потом гражданская война. Какое там чудесное и милое детство! Но у Ксении плохое никогда не существовало. Я теперь совершенно убежден, что она была счастлива, по-своему, конечно. Ее счастье — в стихах, и оно долгие годы будет сопутствовать многим из нас и, верю, людям других поколений. Мне кажется, что если бы она написала только вот эти строки, ее можно было бы считать самой красивой, самой счастливой:

И, вынув руки из одежд,
я пальцем тронула рассвет
и стужей руку обожгла...

В моей памяти теснится много стихов Ксении. Они невелики, но по мысли, по чувству это необъятный мир.

Внезапно пошел дождь. На бумаги Ксении дробно падали с веток дождевые капли. Она слушала их замирающий ритм. Выхватила у меня карандаш и ломаными, детскими буквами что-то записывала, — должно быть, услышанную в шорохе капель мелодию.

Ксения рассказала мне, как в метро, на станции "Комсомольская", в районе трех вокзалов, в воскресенье под вечер среди обветренных и тронутых первым загаром огородников с граблями и лопатами, обернутыми в тряпки, она заметила женщину и матроса. В волосах женщины застряли порыжевшие, очевидно, пролежавшие под снегом травинки. Земля ей и ее милому другу дала первобытную силу, сделала их обоих красивыми от счастья, от любви. И вот через много лет, уже после смерти Некрасовой, я нашел в ее бумагах стихотворение — оно называется "Баллада о любви". Оно очень большое, и я приведу только несколько строк:

Любовь...
Я первый раз
касаюсь этой темы.
Но все земное
в молодости сладко.
Наполнено
неизъяснимой благодатью
и трепетом березовых вершин.

Целая эпоха передана в этом стихотворении, с ее катастрофами, с ее победой. Читаю, перечитываю и не устаю наслаждаться. Я под руку переводил Ксению через площадь. Она страшилась пространства и

вся съежилась, тяжело дыша открытым ртом.

Мой знакомый, увидев нас, остановил машину. Он гордился: только-только по случаю приобрел ее. Предложил прокатить... Мы сели.

— Ничего против не имеете, если включу радио? — спросил хозяин. Раздался вкрадчивый голос Вадима Синявского. Ксения восторженными глазами смотрела по сторонам. Спортивный комментатор тихо и печально объявил о неутешительной игре команды "Динамо".

— На стадионе зажгли свет, — сообщил он, подбадриваясь сам и подбадривая болельщиков. — Лучше будет видно, может, будут лучше играть.

— Правда, вот на этом месте Кутузов давал указания Милорадовичу? — вдруг спросила Ксения, заглушая голос Синявского со стадиона.

Нашла время, когда задавать вопросы! А между тем Вадим Синявский, кажется, специально для болельщиков "Динамо" ядовито вещал:

— Динамовцы строят великолепные комбинации, а результатов никаких.

Подъезжая к Старопименовскому, Ксения, чем-то очарованная, во весь голос напевала.

— Товарищи!

— Ну что? Что?

— Вон там, в переулке, желтый особнячок. Знаете? Правда, что там жила Бибикова, дочь Никиты Муравьева, и будто у нее частым гостем бывал Лев Николаевич Толстой? Он тогда собирал материалы о делах 1825 года.

— До конца игры остается чуть больше двух минут, — с тоской объявил Синявский.

— Вот здесь мастерская Коненкова — бывала там...

Хозяин машины теперь откровенно и злобно косился на нее.

— "Динамо" проигрывает, — неслось из приемника. — Мяч летит выше ворот "Спартака". Нетерпеливые зрители покидают места. А вот уже и свисток. Время истекло. Ксения всплеснула руками. Она сияла, ей пришла в голову мысль:

— Поедемте на Арбат, сегодня в Доме Скрябина концерт Софроницкого. Товарищи, вас просит женщина!

Автомобилист украдкой от Ксении повертел у себя около виска пальцем, указывая на нее глазами: "Чокнутая?".

За восторженность и за непосредственность некоторые другие также причисляли ее к ненормальным.

Я остановил машину, поблагодарил хозяина, и мы вышли.

Ксения грустно покачала головой.

— Пока мы раскатывали по городу, — сказала она, — какая драма произошла на стадионе!

Ушки ее, оказывается, все время на макушке, ничего не пропускают. Все видит, все слышит.

— Да, — деловито добавила она, — пришла, по-видимому, пора пересмотреть и перетасовать игроков "Динамо".

И вдруг с умилением уставилась на малыша, цеплявшегося за юбку матери. Он закинул головку и ловил ртом первые снежинки.

* * *

В тот раз Ксения была на редкость откровенна.

— В Доме архитектора, — рассказывала она, — читала стихи. Когда вечер окончился, ко мне подошел Л.К.

Он расшаркался, поблагодарил за то удовольствие, какое она доставила, просил "удостоить" его вниманием и прийти на обед.

— Не умею дружить с благополучными, — сказала Ксения. — Скучно с ними.

Не пошла.

Но вот заболел малознакомый человек. Не хотела идти к нему с пустыми руками. Перебрала имена друзей: у кого перехватить денег? У благополучных? Им всегда "не хватает" для самих себя. А у других? Сколько раз у них брала! Бедный бедного скорей выручит. И все же — к кому обратиться? Вспомнила того, из Дома архитектора. Чем черт не шутит?

Только отворили дверь, пахнуло таким благополучием, даже зажмурилась. Голубоглазый, пухлолицый мальчишка, не знакомясь, тут же, с места в карьер, пригласил в свою комнату.

— Кто это? — восхищенно спросила галантного хозяина, не спуская глаз с мальчика. Он в длинных, навыпуск, брючках, в ослепительно красной кофте с золотыми пуговками.

— Мой старший брат, — ответил хозяин.

Шутка неплохая. Оценила. А как иначе должен ответить пятидесятилетний мужчина, у которого такой шпингалет? Во внуки годится.

Высокие потолки, фундаментальная, с инкрустациями мебель-старина — вызов легкому, чересчур рациональному веку. Масса света, воздуха, и в этой просторной квартире она видит только двоих. Отец-малютка и его сынишка.

— Сделайте ему удовольствие, — сказал Л. К., — зайдите в его комнату.

Парнишка кипел от нетерпения. И вот Ксения зашла.

— Вы как насчет бильярда? Нет смысла! Я вас обыграю в два счета.

— Ты лучше покажи Ксении Александровне, что я тебе купил, — вмешался отец.

Мальчик в ярком пламени своей кофты скользнул по паркету, раскрыл створки шкафа и начал оттуда выбрасывать шелковые рубашки всех цветов, носочки в целлофановых пакетиках. И, очевидно, повторяя слова отца, внушительно сказал:

— Каждая вещь, как вы можете заметить, это совершенное произведение искусства.

Наконец хозяин пригласил в столовую. Кротко села на кончик стула.

— Как хорошо, что вы пришли, — сказал Л. К. — Я думал о вас.

С какой стати ему думать о ней? Смеется? Ксения настороженно посмотрела. В углу комнаты старинные часы. Затравленно двигается от стенки к стенке маятник. Хозяин таращил глаза и клятвенно прикладывал руку к сердцу. Все еще смеется? В такие минуты Ксения видела себя чужими глазами. Ну что потешного в ней? Все обыкновенное — маслянистые, темные, на пробор волосы, постное лицо с тусклыми, как у татарки, угольками зрачков, по-ребячьи припухлые, открытые губы.

— Я о ваших стихах думал, — сказал Л.К. "Каждый раз, когда начинают говорить о моих стихах, умираю от страха", — созналась мне Ксения.

— Люблю стихи, — говорил он, — конечно, только талантливые, Божьей милостью... А у вас, я убедился, именно такие. Открою мой секрет, — он весело щелкнул пальцами, — собираю автографы.

В глазах Ксении искорки, такие издавна мне знакомые. В них свои оттенки, доверие и ласковость. Но бывает недоверие, хмурая жалость. Человек рисуется, — значит, обижен Богом. А ведь страсть как хочется казаться лучше, чем есть на самом деле. Ксения сразу определила: ему стихи не впрок, они никакой струны в нем не задевают. Автографы поэтов —

украшение его дома. "Что поделаешь", — сочувственно говорила Некрасова.

— У меня есть и Есенин, и Ахматова, и Городецкий. И еще кое-кто. Смею надеяться — и вы мне подарите. Но сперва, пожалуйста, прочтите что-нибудь.

Надо бы отказаться, да не умела. И прочитала стихотворение "Мой институт".

— А вы — поэт Божьей милостью... — Л. К. так и сказал. Но все же по выражению его лица можно было отгадать его глубокое сожаление: почему бы не быть и таланту, и подходящей наружности!

Он позвонил в колокольчик.

Явилась домработница. В сравнении с Некрасовой — барыня! Принесла на подносе вино, фрукты, орехи.

— Прошу к столу,—сказал хозяин, гримасничая, собирая и разглаживая морщины на лбу.

Ксения не посмела. А ведь там где-то, далеко, на обрыве города, нужна ее помощь. Ах, если бы можно было это угощение превратить в деньги! Но не слишком ли много "бы" на пути к добрым делам?

Пододвинулась наконец к столу. А к угощению руку не протянула.

Л.К. провел по лицу большой, как лоханка, ладонью, точно что-то досадное смахнул. И с жалостью к Ксении:

— Редко печатаетесь? Должно быть, трудно?

Ксения не ответила.

— Трудно — еще не значит смертельно, — философствовал он. — Я лично никогда ни на кого не опирался. Товарищ научил. Переплывали мы Неву. Я метров двадцать отмахал. Тяжело стало. Кричу, зову. А он — хоть бы хны! Потом, уже на другом берегу, он сказал: "Ничего, я убежден, переплывешь. Жить-то хочется".

Ксения поднялась.

— Извините, — сказала и ушла.

— Я дала себе зарок никогда больше не ходить к таким людям. Вот бываю у Фалька. Он под крышей живет и работает. Перед ним набережная, Москва-река. Тебе нравится, как он пишет?

— Все у него в зеленой дымке, — ответил я. — Как будто начало весны.

— Он пишет мой портрет, — Ксения засмеялась. — Какая же я весна?

Теперь этот фальковский портрет многие знают. Он удивительно верно передал здесь все самое очаровательное: ее поэзию, ее чистоту, хрупкость и в то же время что-то очень простодушное, здоровое. Ксане сначала этот портрет не понравился. Видно, она представляла себя как-то совсем по-иному. "Почему он написал меня так запросто? Я ведь изысканная". — "Здесь ты похожа на твои стихи", — ответил я. "На стихи? Да, это мысль". И она ушла вполне утешенная. А впоследствии она очень любила, когда Фальк среди прочих работ показывал своим гостям и ее портрет.

Приближался вечер. Я с ужасом подумал: а где сегодня Ксения будет ночевать? У нее нет своего угла. Она — сущий ребенок. Совершенно не способна позаботиться о себе. Незащищенная. А надеяться тоже не на кого. Из Литинститута еще по живому следу о ней идет молва: "Чокнутая, а стихи ни то ни се". Только Борис Ямпольский везде каждому твердил: "Ксения гениальна! Не просто талантлива, а гениальна!" Верил в нее и Александр Александрович Фадеев. Однажды пригласил к себе в рабочий кабинет в Союзе писателей. Она очень волновалась. Просила меня подождать ее на улице. Три часа ждал. Фадеев не отпускал, требовал, чтобы она еще и еще читала. Он

долго пожимал ей руку, благодарил. "Твое время еще придет!" — сказал. Она вышла сияющая, просветленная. А потом встал проклятый вопрос: где же ночевать? За город ехать, где она жила, было уже поздно.

— Не беспокойся, как-нибудь устроюсь, — утешала она меня.

Одно время Ксения жила у подмосковной колхозницы, у которой сын был в армии. Потом у известного старого писателя Марка Криницкого. Потом у вдовы одного артиста и, когда съехала с этой квартиры, поселилась у дворничихи, в подвале Союза писателей.

— С интеллигентными не могу жить, — говорила Ксения. — У дворничихи великолепно. Я уже привыкла держать доску на коленях — это мой письменный стол.

Удобства ей не были противопоказаны, но не это ее занимало. "Мне в дар отчизна принесла жемчужницы в подоле", — писала она ("Слово"). Распорядиться таким редкостным богатством — вот извечная ее забота. Она была бесконечно добра к людям и в общем редко давала себя разозлить. Иногда, правда, плакала, облегчала себя слезами, как все женщины и дети. Раздраженной ее я не видел.

Жизнь тогда интересна, когда она нацелена на других. Забота о других, о целом мире, — где уж тут думать о себе, о насущном.

Веруешь, что слова твои
высушат наговоры зла
и добро принесут стихи,
что поэмы людям, как хлеб
в голодающий день, нужны,
что ты голод насытишь их.

Эти строчки из еще ненапечатанного стихотворения Некрасовой "Дом Союза писателей".

Мне рассказывали, как Ксения Некрасова, эвакуированная во время войны в Среднюю Азию, как-то пошла на базар. В многоцветной, шумной толпе заметила известного московского литературоведа. Он надел на голову медный таз и бил по нему палкой. Бом! Бом! — набатом звенело по всему базару. Ксения отвернулась, чтоб его не смутить. Но он ее заметил, остановил.

У нее совсем изношенное платье. И потому, несмотря на жару, пришлось надеть пальто. Об этом пальто Некрасова потом написала стихотворение:

Три седые петли
и плечи, сникшие
от тяжкого раздумья,
все горести мои
с тобой, мое пальто.
Мы оба так нелепы и смешны
среди желудочных молитв и песнопений..

— Ксения Александровна, что вы тут ищете? — спросил литературовед.

— Цветы, — горестно ответила Некрасова.

— Цветы? — пропел он. — Люди о хлебе думают, а вы... Сущее дитя!.. Продам таз и с радостью подарю вам цветы.

Она была наивная, благородная, сказочно прекрасная. И вместе с тем — сильная необычайно...

Мы пошли с Ксенией по Трубниковскому, к ее "дому".

Около ЦДЛ из машины вышел энергичной, деловой походкой высокий, хорошо одетый человек. Я его знаю. Широко печатается. Он рассеянно кивнул Ксении и с удивлением взглянул на меня.

— Жалко его, — сказала Ксения.

— Почему?

— Думал, когда училась с ним в Литинституте, поэтом станет.

— А кем же он стал? Поэт он и есть.

— Заботы о роскоши сожрали в нем поэта.

А потом о нем, и не только о нем одном, — уже в стихотворении:

Не назову фамилии поэтов —
ровесников
из юности моей,
а были в юности они
лицом светлы
и сердцем просты, —
а теперь
от добыванья славы —
стоят, как каменные бабы,
поэты сытые —
без жалости в груди.

— Сколько же можно так скитаться? — спросил я ее.

Она погладила мою руку. Это была благодарность за, должно быть, ненужную заботу.

— Ужасно как жалею благоустроенных. Им очень, наверное, скучно, неинтересно. Все есть, и желать уж больше нечего.

Встретил ее на Кузнецком мосту, на выставке Коненкова. Она долго всматривалась в скульптурный портрет Есенина.

— Ему благополучие было бы только в наказание. Представляю, сколько людей болело за него душой. А ему их жалость, думаю, только в тягость была.

"Как и тебе, Ксения", — думалось мне.

Тише, пожалуйста,
это подснежники.

О ком она так писала? Наверно, о детях, а может быть, о женщинах, чьи "ладони, как кленовые листья, тонки и малы". Пусть они вершат грандиозные дела, все-таки вся прелесть их в их слабости.

И вот у таких-то слабых и хрупких
....
из-под рук поднимаются
многоэтажные здания,
протягиваются километровые мосты
И пальцы, умеющие отделять лепестки цветов,
рассекают каменные горы.

Среди этих "слабых и хрупких", сильных духом строителей была и Ксения Некрасова.

— Писать так, — сказала Ксения, — чтобы не портилось от времени.

И она так писала, строила, можно сказать, долговечное здание поэзии.

Михаил Светлов, известно, при всем блеске своего ума и изяществе таланта, был в житейском смысле слова порой наивен. Забывая о себе, он помнил постоянно о других и заботился как мог. Этот поиск добра для людей он в известной степени распространил и на Ксению Некрасову.

— Послушай, Оксана, — сказал он ей, — а почему ты не вступаешь в Союз писателей? Коллектив, детка, тебе не повредит.

— Я об этом не подумала, —ответила она.

Михаил Аркадьевич написал рекомендацию: "...принимая Ксению Некрасову в Союз, мы приобретаем талантливого товарища, у которой есть такие душевные достоинства, которых мы, бывает, лишены, а членский билет поможет ей продолжать работу и облегчит ее весьма трудное бытовое положение".

Странно как будто, но ведь факт: очень видные

поэты отказали ей, не приняли в Союз писателей. Глухи оказались, не восприняли ее творчество. Новое, непривычное не задело их чувства и ум... Не побоимся сказать: большинство поэтов тогда не оценило ее дарования, они не приняли в свой цех Ксению Некрасову.

Не получив полного признания у "братьев-поэтов", она стала искать признание и дружбу в кругу художников. Ее там обласкали, "выпрямили", помогли поверить в собственные силы. Она не только нашла у них утешение и приют, она проникалась их даром видения.

Художники часто писали ее портреты. Писал ее и И.Глазунов. Признаться, я не поклонник этой его работы. Но, во всяком случае, следует считаться с тем, что Глазунов по-своему ее увидел, понял ее душу — по-своему опять-таки.

И вот наконец настал день, когда издательство приняло ее книгу "А земля наша прекрасна". Гордое название сборника не случайно — оно от ее здоровой натуры, от корней жизни, не допускающих ни при каких обстоятельствах, даже, казалось, совершенно безнадежных, потерять самообладание, дрогнуть в унижении.

"А земля наша прекрасна" — вторая книжка Ксении Некрасовой. Первая была "Ночь на баштане".

И еще радость: получила ключ от комнаты, которая раньше принадлежала ее товарищу по институту, ярому поклоннику ее таланта, писателю Борису Ямпольскому. В комнате из мебели, кроме старого матраца с вылезшими пружинами, ничего не было. И она поставила веточку знаменитой колесниковской белой сирени в стакане, и хотя это было в начале февраля, здесь сразу дохнуло весной.

Она переживала счастливые дни в обыкновенном,

житейском смысле. У нее сынишка ("дорогая деточка, дорогая веточка"). И мечтала теперь взять его из детского дома, мечтала еще о многом, но дни ее уже были сочтены. Она даже не брала денег, которые следовало ей получить (Кириллу понадобятся).

Убегало от нее время. А с ним — и жизнь. Утешение только одно: талант ее все же пробил себе дорогу, совсем скоро выйдет книга "А земля наша прекрасна". Увидеть бы только!..

А впрочем, утешала себя, не это главное.

Мои стихи
иль я сама
одно и то же, —
только форма разная, —

говорила она в стихотворении "Моя комната".

17 февраля 1958 года она скончалась. Книга вышла уже без нее...

Смерть Ксении Некрасовой как бы подчеркнула величие ее духа, подняла ее ввысь. Между тем и боль вошла в наше сознание: вот видели и не замечали ее, замечали и смотрели на нее не теми глазами. У многих из нас, хорошо знавших ее, спустя много лет возникла досада: как же так?

Только что я нашел в ее бумагах письмо к старому другу:

"Очень хорошо, Егорушка, что вспомнил и написал. Спасибо. Я была у твоей мамы и видела твои фотоснимки. Боже мой, как изменила нас судьба. В памяти моей ты сохранился тихим, мечтательным юношей и очень хорошим, а сейчас, по-видимому, это только образ, а в действительности все вывернуто и перевернуто. Небесные мечты оказались земными, и хорошее понимается иначе".

В свое время она была счастлива. Война все сломала, исковеркала, разбила до основания. Она с мужем и ребенком оказалась в эвакуации, в глубине Средней Азии. Голодали. Муж потерял рассудок. Умер, не прожив и месяца, ее первенец Тарасик. По совету друзей Ксения Александровна ушла из этого места, где разбилось ее счастье женщины-матери. Держала путь в Ташкент. Кто знает, сколько километров отмерила! Добрые люди оставляли на ночлег, кормили. "Сейчас, — писала она тому же Егорушке, — постепенно прихожу в себя. Помнишь, Георгий, как в институте по каждому пустяку смеялась? А теперь почти разучилась".

И тогда, в 1942 году, она себе, своему вдохновению, говорила:

Не надо плакать,
мой стих!

Ты наденешь на плечи рюкзак,
русскую палку в руку возьмешь
и дальним верстам дорог
себя для людей понесешь.

Впервые я услышал это стихотворение на улице в Москве в веселые и вместе с тем серьезные дни Всемирного фестиваля молодежи. Мы с Ксенией много ходили, слушали песни и музыку, знакомились и беседовали с молодыми людьми самых различных национальностей и социальных положений.

В Театре киноактера мы смотрели хроникальные фильмы вьетнамцев и потом с этими товарищами сошлись в скверике около театра. Они плохо говорили по-русски и плохо понимали, что им говорили, но слушали чутко и напряженно, трудно улавливая трагический пафос Ксениных стихов.

Вьетнамцы глубокомысленно молчали, все еще

чего-то ждали: может быть, она все-таки им как-нибудь объяснит смысл стихотворения?

— Алло! Алло!

Мы обернулись.

Со скамейки сорвался элегантный француз. Он взмахнул записной книжкой:

— Могу предложить вольный перевод, еще несовершенный. Может быть, для первого знакомства сойдет.

Дружок переводчика, немецкий паренек, обвешанный лентами и значками, прыгнул ему на спину.

— Давай, давай! — поторапливал он. — Арбайтен!

Французский перевод был, очевидно, всем ясен. Вьетнамцы со свойственной им застенчивостью благодарили Некрасову. Все то далекое, что описано в ее стихотворении, никому из них не было чуждо. Ими это пережито.

Ей подарили цветы.

Она, как ребенка, несла букет, заботливо прижав к груди.

Вечером она долго стояла с гостями в Парке культуры и отдыха около белой башенки, слушала гитару, потом спустилась с ними к лодочной станции. Душа ее была полна. Погрузила руку в воду, прислушивалась к всплеску за кормой. А над головой в небо дерзостно взлетали звездные цветы фейерверка.

Я смотрел на Ксению и радовался ее радости.

Следующая встреча произошла неожиданно, как всегда.

На улице Горького было многолюдно и шумно.

Особенно были заметны представители Африки, многие безо всяких церемоний знакомились и мигом становились друзьями, уходя дальше в обнимку; дорогу то и дело преграждали танцующие или поющие под аккомпанемент гитары или самодельной

деревянной дудочки; одни носили себя по улице с праздничной торжественностью, украшенные цветами, значками, какими-то лентами, другие — скромно, ничем не выделяясь из толпы. В этом пестром потоке меня окликнула Ксения. Я из-за шума ее не услышал. Тогда она приблизилась и дернула меня за рукав.

По сиянию ее глаз я догадался, что у нее радость.

Я пригласил ее в кафе. Здесь было полным-полно, но, на наше счастье, освобождался столик. Мы присели и заказали мороженое.

— А я на Палашовском рынке была,—сказала она.

У нее ничего с собою не было. Даже сумочки. А я все же спросил:

— И что ты купила?

— Там всего столько — глаза разбегаются.

— А все-таки?

Она, по-видимому, была очень довольна. А чем — я не понял.

— Все, что там было, — мое теперь! — объявила она и описала руками большой круг.

— Захватчица!

Она, торжествуя победу, высоко подняла голову.

— Карандаш, Левушка, мне нужен.

Я дал ей карандаш. Она добыла из деревянной кружки бумажную салфетку, разгладила ее и стала что-то выводить. Но это были вовсе не рисунки, а буквы, слова. Две строки таким манером написала, но бумага была ворсистая, шелушилась. И она ее скомкала.

— Надеюсь, не забуду, — сказала она.

— А что собиралась записать?

Еще с минуту помолчала. Наконец ответила:

— О Палашовском рынке стихотворение сочинила.

Стихотворение ее слилось с фестивалем, его нарядной и праздничной стороной.

Я привожу его полностью, тем более что оно никогда не печаталось:

Стоят медведи глиняные
на столах,
играя на малиновых гармонях,
из белой глины лебеди
в волнах,
собаки синие на гипсовых ногах.
И золотые петухи при входе.
И женщины прекрасней пчел
с оранжевыми тальями
проходят
и очарованно подходят
к корзинам ягод,
с сердцем птиц
и птичьим оком
ряд обводят.
Мальчишка достал
из корзины скворца.
Птица округлое сизое веко
содвинула вверх.
Таинственны птичьи глаза,
как неизвестность законов.
Комочек пуховой жизни
умиляет детей и взрослых,
даже старуха, пробующая незабудки,
тянется ковшиком рук,
стараясь коснуться
взъерошенных перьев.
А женщины, красивей ос —
с оранжевыми тальями проходят
и стрекозиным глазом
ряд обводят, —
где ягоды напоминают
сердце птиц.

Вы, конечно, сразу узнали в этом стихотворении дымковскую игрушку. Игрушка! А в ней жизнь заби-

лась, и спасибо Ксении: это она им — глиняным медведям, и лебедям, и петухам, и скворцу, и его хозяину-мальчику, и женщине, стрекозиным глазом обводящей торговые ряды, дала сердце.

Прочитала — и отмахнулась. Ее захватило зрелище из окна: какой-то шутник с наклеенным длинным носом поставил лестницу, ни к чему не прислонив, и стал по ней взбираться. Только ногу на вторую ступеньку занес — грохнулся на землю вместе со своей лестницей.

— Пойдем на улицу, — сказала Ксения, — там весело.

В Ташкенте судьба свела ее с Ахматовой, которая с восторгом и удивлением слушала ее стихи.

По совету Ахматовой Ксения перебралась в Москву. С нею было письмо Анны Андреевны. И много, много надежд.

А в Москве...

Легко себе ее представить, если вспомнить, какой она давала адрес для писем: "Москва, ул. Воровского, 52, двор Союза писателей, квартира в нижнем этаже, в левой сторонке, близ гаража, дворнику Домаше, передать Ксении Александровне Некрасовой". Чтобы облегчить работу почтальона, предлагала адрес на конверте изображать графически, прилагала образец.

Хорошие люди нередко встречались на ее жизненном пути, помогали ей. А разве забудется — когда родился Кирилка, ее приютили Коненковы. Полтора месяца они, старые люди, ухаживали за ослабевшей матерью и ее малышом. Еликонида Ефимовна Попова-Яхонтова, ее сестра Ольга Ефимовна Напалова, добрая простая женщина машинистка Анфиса Васильевна Фельдман добились с помощью Союза писателей определения Ксении в Дом матери. А через год ребенка устроили в ясли.

Главное в жизни Ксении всегда был труд. У нее был девиз: "Ищи силы побороть препятствия в самом себе".

Ксения Александровна пыталась заработать на жизнь трудом на фабрике кукол. Но ей было не по нутру делать "болванов". Ремесленничество ее отпугивало. Много Некрасова размышляла над вопросом, почему все искусственное, сделанное руками ремесленников, быстро надоедает и забывается так, что и "вспоминать о виденном нет ни желания, ни воли".

На обороте одного стихотворения Ксения написала:

"А между тем, настоящее искусство, хотя и выпадает из памяти с течением времени, погодя внимание вновь обратится к нему... будь это картина, или поэма, или одна из деталей старинного здания. С новой силой ударяет тебя по мыслям и думам твоим, и опять начнет работать воображение и мысль. Отчего это так? *Все зависит от линии предмета*. Возьмем обыкновенную ветку сирени осенью, без листьев и цветов, которая видна из окна на фоне синего неба. И когда ты смотришь на эту голую ветку, возникают в тебе какие-то воспоминания из твоих дней, может быть, грустных или тихих и теплых.

В чем же дело? Ведь это же голая, кривая палка, и искусства как будто нет никакого. Но течение линий этих веток, их изгибы и изломы сделаны по каким-то таким до невероятности простым и божественным законам, что вызывает в нас всякие раздумия и переживания кривая палка".

"Все зависит от линии предмета". Но кто эту линию, заколдованную и вместе с тем простую, может провести? Во всяком случае, сама Ксения Александровна могла — и притом весьма точно.

Писала Ксения на обрывках бумаги, в альбомах для рисования, на восковках ТАССа, даже на бланках юбилейной Пушкинской выставки, которые исписывала вкось и поперек детским почерком. Прочитывая после ее смерти ее рукописи, я как будто снова с ней общался, слушал чтение стихов в ее исполнении. Все время она была передо мною: невысокая, простоволосая, с лучистыми темными глазами; дирижируя пальчиком — влево, вправо, улыбчато-неторопливо читала она, напевно, как у колыбели ребенка...

Ни в одном стихотворении Ксении Некрасовой мы не обнаружим жалобы. Ни мытарства, ни потери близких — ничто не сломило ее стойкость, не подавило ее светлейший дар.

Значительные поэты приняли ее в свой круг. И все же: забытье. Ни книг больше, ни упоминаний ее имени долгие, долгие годы.

А давно ли было — А. Н. Толстой бережно переписывал в свою тетрадь ее стихи?

А как просил меня умирающий Светлов читать ему вслух Некрасову...

С трудом удалось убедить товарищей, что необходимо создать при московской организации писателей комиссию по творческому наследию Ксении Некрасовой. И эта комиссия была создана, а тем самым и Ксения Некрасова, пусть посмертно, признана членом Союза.

Я искал ее рукописи.

Маршруты Ксении были неисповедимы.

И все же главное, если не сказать — все написанное ею, — теперь в распоряжении комиссии.

Солидную папку с ее стихами бережно сберегли работники библиотеки ЦДЛ — Н.В.Будницкая, Е.В.Градополова, Алла Мамшагова... Много рукописей Некра-

совой сохранили Е.Е.Попова-Яхонтова и ее сестра, О.Е.Наполова. Ангелина Васильевна Щекин-Кротова и Елена Владимировна Дервиз, родственница знаменитого художника В.А.Серова, и другие друзья Некрасовой долгие годы хранили у себя ее произведения и передали в распоряжение комиссии. Значительная часть рукописей Ксении Александровны составляет специальный фонд в ЦГАЛИ.

И мы начали готовить новый сборник стихов К.Некрасовой.

Тем временем приближалось ее шестидесятилетие.

Юбилейные вечера — в ЦДЛ (18 января) и у художников на Кузнецком мосту (5 апреля 1972 года) — прошли при переполненных залах.

Ксения вышла из забытья.

С воспоминанием и просто с добрым словом о ней выступали М.Алигер, С.Васильев, П.Вегин, Е.Исаев, А.Межиров, Д.Самойлов, Б.Слуцкий, А.Щекин-Кротова, М.Львов, а также артистка Малого театра О.Чуваева — первая исполнительница стихов Ксении Некрасовой.

Прислал свое выступление С. Щипачев.

Подготовленная к печати рукопись Ксении Некрасовой удостоилась прекрасных отзывов: "Высокая поэтическая индивидуальность", "Ее стихи солнценосны", "Никакого риторического звона", "Лаконизм у Некрасовой совершенно классичен".

А потом, когда сборник вышел в свет, его мгновенно раскупили...

Это, безусловно, победа поэта.

Как нам не вспомнить превосходные слова М. Цветаевой: "Для великого — самого большого дара мало, нужен равноценный дар личности — ума, души, воли и устремления, то есть устроения этого целого". Мне кажется, это относится и к Ксении Некрасовой. Я не собираюсь указывать, в какой ряд ее определить,

хочу только отметить, что стихи ее и упорное стремление к цели поставили Некрасову на видное место в русской советской литературе.

Несомненно, я убежден в этом, тот, кто познакомится с поэзией Некрасовой, потом с восхищением и нежностью будет называть ее имя

Мария Аввакумова

* * *

Памяти Ксении Некрасовой

Все-таки люди — хорошие люди.*
Сколько придумали песен хороших!
Сколько наткали веселых тканей,
рассыпав по ним и цветов и горошин.

Все-таки люди — душевные люди.
Скольких ночною порой приютили.
Сколько травы луговой накосили:
С молоком,
горожане, будем!

А лучшие люди,
как травы луга,
жмутся друг к другу.
И женщины молочной спелости
ждут сильных и нежных жнецов,
чтоб стать
хлебом Вечности.

---

* *Печатается по кн.: Аввакумова М. Зимующие птицы. Стихотворения. М., 1984.*

Еликонида Попова-Яхонтова

МОЙ СОВРЕМЕННИК НЕЖНЫЙ*

...А пришла она к нам с Урала, подобная Хозяйке Медной горы, — странная и привлекающая, прекрасная и некрасивая, мудрая и похожая на ребенка.

В 1937 году московские поэты познакомились со стихами Некрасовой. Вскоре в "Комсомольской правде" появилась ее поэма "Ночь на баштане", а затем, во многих журналах, ее первые стихи.

Свои стихи она писала свободным размером, уверяя своих друзей, что *так* писать не просто, а пожалуй, еще сложнее и трудней.

Для каждого стиха Ксения Некрасова, исходя из его содержания, искала свою особую ритмическую волну — вольного размера. Колебля размер-ритм, она вела свой стих по дорожкам неодинаковой длины строк, в поисках истины и правды бытия, его зеркального отражения в поэзии. Она искала яркие и точные характеристики людям, встречающимся на ее пути, вещам, созданным человеком, и милому, всем нам, хозяйству планеты — природе, ее лесам, полям, небу и солнцу. Она обладала большими глазами — зоркими и пристальными, порой широко открытыми и изумленными, чутко и внимательно читающими великую книгу жизни.

Стихи Ксении Некрасовой живописны и красочны, — недаром в ранней юности она училась в художественной школе уральских камнерезов, ювелиров и

** Еликонида (Ляля) Попова-Яхонтова (1903–1964) — режиссер, жена и помощница Вл.Яхонтова. Воспоминания печатаются (с некоторыми сокращениями) по рукописи, хранящейся, как и далее помещенные записи О.Е.Наполовой, в РГАЛИ (ф.2288).*

ваятелей, а в годы Отечественной войны работала в мастерской кукол (художником-моделистом).

Ксения Некрасова живописала словом, как бы повторяя тот процесс, какой происходит, когда солнечный луч, преломляясь в призме, расцвечивается радугой солнечного спектра.

Работу поэта, собирающего в "фокус" — поэтический образ — окружающие нас явления, она производила медленно, ежедневно работая над своими тетрадями, в поисках точных характеристик и ритмов...

Она напоминала тонкий инструмент, чутко реагирующий на прекрасное и безобразное. Прекрасному она дарила вечную жизнь в стихе, а безобразное — безжалостно изгоняла из своих тетрадей или же высмеивала острым словом. Читая ее стихи, замечаешь, что она обладала своим словарем, фольклорного характера, который принесла из уральской страны — сокровищницы руд и русских самоцветов. Исписав порой не одну тетрадь, Ксения Некрасова оставляла точные по философско-поэтической мысли и не сдвигаемые по форме четыре строки:

"Главное на земле — Люди!" —
сказал Ленин
и положил в изголовие
вечность.

Многие поэты и писатели и инженеры, строящие дома или машины, прослушав стихи Ксении Некрасовой и посмотрев на нее, только разводили руками: неужели эта женщина, похожая на ребенка, так пишет, а потом, помолчав, добавляли: "Недаром говорится: устами младенца глаголет истина".

Иногда она говорила: "Мне хочется пешком пройтись по моей стране, все увидеть, всюду побывать..."

Валентин Храмов

КСЮШИНА МЕТЛА

Асеев Ксению Некрасову
Журит: ох, ухарство ее!
Старик, пожалуй, приукрашивает:
Не баба — Франсуа Вийон!

Спит город. Где-то паровозы
Гудят на сонных полустанках.
И Млечный Путь в одних подштанниках
Глядит: она сплетает звезды.

Метет метла.
Москва мертва,
Но что ни звук — крупица света.
Так возгорается комета.

Ольга Наполова

ИЗ БИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ

Ксюшу Некрасову знала вся Москва, но трудно поверить, что кто-либо займется описанием ее жизни.

Что мы знали о Ксюше!

Замужество ее было за инженером... Перед войной она родила мальчика Тарасика. Но наступил 1941 год, шахты пошли на эвакуацию. Есть стихотворение, называется "1941", в нем картины отступления. Эвакуация, видимо, самый тяжелый момент в ее жизни.

Беспомощность в быту, болезнь ребенка и смерть его разрушили их семью.

Муж потерял рассудок, не смог работать – полу-

чая паек, украдкой съедал свою норму хлеба, прикрываясь газетой. Впоследствии его состояние ухудшилось... Со слов Ксюши, она голодала. Окружающие стали ей советовать идти в Ташкент, что она и сделала – собрала свои стихи в мешок и пошла пешком в Ташкент.

По дороге жила подаянием от кишлака до кишлака.

В Ташкент пришла опухшая, оборванная, грязная. Шла к русскому храму на смерть. Подробностей не знаю. Кто-то встретился из знакомых, но во всем приняла участие Ахматова*. Слушала ее стихи, накормила и определила ее жить.

Долго ли прожила в Ташкенте, но вскользь, мельком были разговоры, будто она окружающим была в тягость — на том основании, что опять-таки не справлялась, видимо, с бытом нормального человека.**

Ахматова отправляет ее в Москву с писательским пайком.

"Она — поэт", — эти слова Ахматовой о Некрасовой приведены в воспоминаниях С.Сомовой ("Москва", 1984, №3, с.188). Посылая в письме из Ташкента в Москву И.Эренбургу стихи Некрасовой, Ахматова писала 15 августа 1993 года: "Мне они кажутся замечательным явлением, и я полагаю, что нужно всячески поддержать автора" (Встречи с прошлым. Вып.5. М., 1984. с.348). А в "ташкентском" дневнике Валентина Берестова 21 апреля 1944 года датирована запись:"Ахматова читала прекрасные стихи Владимира Державина и Ксении Некрасовой" (цит. по: Некрасова К. Самые мои стихи. М., 1977, с. 80).

*** Н.Я.Мандельштам в июле 1943 года писала Н.И.Харджиеву из Ташкента: "Сейчас у нас в углу склубилась Оксана Некрасова — маленькая юродивая, "незаконная дочь" Гуро и Хлебникова. Она помешана на своих стихах и когтит ими всех, как коршун. Иногда раскрываешь рот от удивления — что за чудо? — а то прет такое, что хочется плакать.*

В скором времени на паек ее приняла старушка в своем доме в Болшево.

Бродила по Москве, в доме Яхонтовых проводила большую часть времени.

Встречалась с Эренбургом (помощь). Кассиль, Пришвин, Фальк. Фадеев оказывал ей существенную помощь деньгами, такую, что можно приобрести на эти деньги пальто и обувь. Изношенность всегда была отчаянная.

Праздничные дни (Май, Октябрь, Новый год) хотела быть в кругу писательском. Всегда терпела отказы — были слезы. Уговоры наши не ходить не помогали...

С нами Ксюша бывала всюду. Так, однажды были у Коненкова, он был очарован ее стихами...

Однажды Лиля записала ее голос с чтением ее стихов. К сожалению, послали в ЦК партии с просьбой оказать ей помощь — ответа не было и запись пропала.

Олеша дарит свою книгу с надписью.

Вдруг (1951 год) рождение второго ребенка — мальчика Кирилла.

Материнство сильно.

Жить для ребенка.

Мечта не быть одинокой.

Через год ребенка определяют в ясли, а ее — к дворничихе писателей. (Дама хорошо за ней ухаживала).

Утром она просыпается с дежурным вопросом, который будет повторяться весь день... кто может быть ей полезен для напечатания ее стихов. Перед ней сейчас прямая задача: использовать Анну Андреевну на сто процентов.

Стихи ее настолько хороши, что есть искушение Вам послать" ("Вопросы литературы", 1989, № 6, с.237).

По воскресеньям навещала ребенка. Горе было — поиски средств для гостинцев...

Лиля проводит ее вечер в поэтической секции... Вечер прошел интересно...

В 1958 году Ксюше оформляют комнату. Счастливая, ходит со связкой собственных ключей. Принесла гранки* и исчезла на четыре дня.

В ночь с 16 на 17 февраля Ксения умирает...

Остается ребенок.

Похороны ведет секция поэтов.

Клятва Тушновой не забыть ребенка (забыт).

Выступали Левин, Ильин. Были Слуцкий, Евтушенко.

Кремация в стене.

Комнату отобрали у сына на том основании, что в паспорте не был прописан и что она не успела его оформить за те восемь дней, которые прожила на своей личной площади...

Леонид Мартынов

ЦАРСКАЯ ДОЧЬ**

Я встретил ее в первый раз там, на галерее, откуда свалился с лесенки и слегка повредил себе челюсть ее воображаемый предок, точнее, воображаемый дед, Александр Александрович, какой именно — это выяснится ниже. А для начала расскажу об этой встрече на галерее Клуба писателей, в нише напротив 8-й комнаты.

Ксения Некрасова сидела там на диванчике, печально поглядывая вниз на ресторан, потому что ей

**Сборник "Ночь на баштане".*

*** Печатается. по кн.: Некрасова К. Самые мои стихи. М., 1995.*

хотелось есть, а денег у нее, как обычно, не было, и она ждала, что кто-нибудь ее пожалеет и накормит. Все это я уяснил себе позже, приглядевшись к ней ближе во дни нашего знакомства.

А знакомство это началось с того, что она остановила меня, проходящего мимо, сказав:

— Мартынов, Леонид Мартынов, подождите и послушайте, что я вам скажу! Мне ваши стихи нравятся!..

Она заговорила о стихах моих и не моих, в том числе — о своих. Она говорила, что ей хочется писать стихи, стихи, стихи... И это главное наслаждение. Она их читала, читала, читала! И она не попросила в тот первый раз денег у меня на обед потому, что беседовала со мной впервые, хотя, конечно, была голодна, как всегда, ибо влачила жалкое существование. Ее стихи — лирические миниатюры без рифм — тогда никто не печатал; она, мне кажется, не была и членом Союза; ее, милостиво пустив на какое-нибудь собрание, гнали затем с него за дерзкие реплики в адрес выступавших. Так она и жила на свете, нелепая, плохо одетая, оправдывающая факт своего существования рассказом о перенесенном менингите. Ее и жалели и отмахивались от нее в минуты раздражения. И я отделывался от нее тем или иным способом, но вежливо и с выгодой для нее: наскоро похвалив ее действительно хорошие стихи и дав немного денег, ссылался на занятость и отсылал ее пообедать или поужинать. Важно было, чтоб она не увязалась провожать.

— Меня никто не провожает, так я сама хожу провожать! — объяснила она мне однажды. Зачастую ее провожания кончались тем, что она при расставании сообщала:

— Пойду теперь искать себе ночлега!

Дело в том, что она обитала далеко за городом, у какой-то квартирохозяйки, которая ругала ее за поздние возвращения, и Ксюша предпочитала переночевать у московских знакомых. Ночуя, она вела себя порой беспокойно. Так, например, рассказывали, что один раз, проснувшись среди ночи, она потребовала ваты и тряпок. Ей дали и ваты, и тряпок, и она тут же принялась мастерить куколок, пояснив, что, коли стихи ее не печатают, она будет существовать продажей игрушек. Но, уклоняясь от ее провожаний, я не мог отказать ей в удовольствии посидеть со мной на антресолях Клуба. Я ее вразумлял. Я толковал ей о том, что ее миниатюры хороши, но, увы, не находят сбыта, и, может быть, ей следует попытаться писать более, как тогда говорилось, ясные стихи. Я толковал все эти благоглупости, повторяя, в сущности, то, что толковали мои доброжелатели и мне самому, ибо и меня самого почти не печатали и жил я в эти годы почти исключительно переводами. Я не говорил ей: "Переводи!" Я понимал, что на это она не способна. Но я старался внушить ей быть в оригинальных стихах поконкретней. Она же бормотала, что она и так конкретна и еще конкретнее быть не может. Впрочем, она признавалась, что не может вполне осознать того, что происходит, но тем не менее все происходящее ей в общем понятно: есть люди хорошие и есть нехорошие. Я, помню, однажды сказал ей:

— Ну, попробуй написать о хороших людях, которых ты видишь и видела. Либо пиши детские стихи!

— Как это детские стихи? — наивно спросила она.

— Ну, как Чуковский, Маршак, Барто.

— Я не умею!

— Ну, тогда напиши о своем детстве. Вспомни о нем и взгляни на все это как бы детскими глазами, как бы через призму детского восприятия. — Мне показа-

лось, что это блестящая мысль. Авось пойдет, сделается детской писательницей, ведь она сама как дитя.

— Уяснила? — спросил я. — Попробуй писать для детей и о детстве.

И тут-то она и сказала:

— Писать о детстве? О своем детстве? О, если б ты знал! Но, впрочем, я и сама только догадываюсь о тайне своего происхождения. Слушай! Но только никому, никому не рассказывай!.. Ты знаешь, что я с Урала. Но кто я? Я только догадываюсь, кто я.

Глаза ее загорелись, затем сузились и, наконец, широко раскрылись, как бы от удивления всем тем, о чем она сама о себе догадалась. И путано, шепотом она поведала мне об этой загадке. Из ее рассказа выходило, что она — сирота, а воспитавший ее уральский священник скрывал от нее, но не мог скрыть, она догадалась, что ее родители были не ее родители, и вообще она царского происхождения... Словом: Урал, Тюмень, Тобольск, вот в чем дело!

— Понимаешь? — прошептала она. — Я вроде как принцесса!

— Ты? Принцесса? — засмеялся я. — Ты самозванка, вот кто ты, Ксюша!

— Нет, не из тех известных царских дочерей, великих княжон,— возразила она, — а тут что-то другое. И по времени так выходит.

Я, помнится, начал доказывать, что это бред. Что Николай Второй едва ли мог и хотел в Тобольске заниматься амурами, и вообще это вздор, и она даже вовсе не похожа лицом на Романовых.

— Но почему в таком случае, — воскликнула она горячо, — почему ко мне относятся, как к какой-то принцессе? Почему меня не признают? Почему меня гонят, не дают ни говорить, ни печататься, как будто бы я чуждый элемент? Как будто я действительно

великая княжна! Будто бы мой дед не кто иной, как Александр Третий, знаешь, вот этот самый, который с лесенки антресольной тут, говорят, свалился, когда этот дом еще не был писательским клубом!.. — И она зарыдала. Пораженная логичностью собственных рассуждений, она повторяла:

— Нет, нет, видно, я в самом деле царская дочь!

— Дура! — воскликнул я. — Ты понимаешь, что ты болтаешь? Ты хочешь нажить себе неприятностей? Да и поделом тебе будет! А уж если ты хочешь знать, из твоих разговоров выходит, что скорее ты не царская дочь, а распутинская. Вот тебе и Тюмень, ты и лицом на него похожа! — Так хотел я отвести ее мысли о царском происхождении. Но тут же спохватился: хрен, подумал я, не слаще редьки. Внуши ей, что она распутинская дочка, — начнет толковать и об этом. Так оно и вышло.

Через несколько дней общие наши знакомые, смеясь, рассказали мне, что Ксюша поговаривает, что она, вероятно, дочь Распутина. А еще через несколько дней Ксюша с таинственным видом сказала об этом и мне. ...Сейчас, перечтя то, что изложено выше, я думаю: имею ли я право писать все это? Ведь как-никак речь идет не о вымышленной личности, а о действительно жившей среди нас несчастной, бедной, безобидной поэтессе, которая не сможет ни опровергнуть, ни подтвердить, ни объяснить все то, что я говорю. Что это было?

Может быть, это была плохая игра, театр для себя, может быть, горькая ирония: ко мне так плохо относятся, будто я чуждый элемент — царская дочь! Скорее всего именно так. Тонкую ироничность Ксении Некрасовой подтверждают, например, такие ее высказывания. Однажды она пришла и сказала:

— Ну вот, час от часу не легче. Теперь меня вымели!

— То есть как вымели?

— А вот так. Вымели. Я стала ходить ночевать к Марку Криницкому. Он очень хороший старик, добрый, но племянница у него злая. Такая злая, такая злая! Он сказал мне: "Ты видишь, Ксюша, спать негде, но ничего, я уложу тебя на полу!". И сделал мне постель на полу, в углу. Но утром пришла эта злая племянница, стала убираться, мести. И метет, и метет метелкой прямо на меня, будто не видит, будто меня нет, будто я не я, а сор. И она меня вымела, вымела, вымела!

И Ксюша расплакалась, а потом рассмеялась. Бог знает, что говорила Ксюша Некрасова!

Однажды она объявила, что она унаследована. Я подумал, что тут опять что-нибудь связано с царской фамилией и что снова придется убеждать ее, Ксюшу, отказаться от глупых идей. Но дело оказалось проще. По ее словам, ее завещал своим близким один почти удочеривший ее старец-художник. Умирая, он будто бы сказал родственникам: "Завещаю вам не бросать Ксении!". И вот теперь она завещана и унаследована.

Что тут правда, что вымысел, очередная фантазия — судить не берусь. Знаю, что ее истории о самой себе порой были и печально-остроумны, и горько-смешны. Но умела она жестоко посмеяться не только над собой, и над другими. Например, она могла совершенно серьезно и участливо сказать писательнице, которая сделала вид, что не узнала ее, отвернула от нее, Ксюши, свое лицо:

— Голубушка, вы меня не узнали? Да! Я вас сначала тоже не узнала, вы так постарели, так подурнели, что даже от людей отворачиваетесь! Что с вами, моя дорогая?

А писателю, который, начав преуспевать, стал пренебрегать Ксюшиным обществом, она заявила:

— Когда у тебя не было новой шляпы, ты, мой друг, выглядел гораздо красивее!

Все ее сентенции были неожиданны, громогласны и блистательно неуместны. Но она умела выбрать для этих неуместностей время и место. Заявляя о своих обидах и простодушно мстя обидчикам, Ксения Некрасова не переставала требовать главного: признания своих человеческих прав. И добилась, дождалась-таки своего часа и получила хотя и не широкое, но все же признание, наряду со многими другими авторами, когда, наконец, настало другое время. Об этом можно рассуждать по-разному. Можно сказать, что в свете этого нового времени старые стихи Ксюши Некрасовой стали и выглядеть иначе, то есть интимная лирика вступила в свои права. Но мне кажется, что само это новое время как бы раскрепостило поэзию Ксении Некрасовой: она стала писать новые, гораздо более свободные, проникновенные, не заторможенные сознанием собственной авторской неполноценности произведения. Помню, как я и мои товарищи восклицали:

— Смотрите, что делается с Некрасовой, как здорово она начала писать! Это, конечно, требует иллюстраций, доказательств. — Здесь, в этом месте моего повествования, должны бы стоять образцы ее лирики. Я хочу быть предельно честным во всем, что я пишу о себе и о других. Всегда, когда я пишу о других, то я пишу как бы и о себе, а сейчас я вижу: в памяти моей не осталось почему-то ни строки из стихов Ксении Некрасовой...

Личность ее, разговоры запомнились мне, а стихи — нет, однако это вовсе не значит, что стихи были плохи. Нет. Я утверждаю, что многие из них были попросту хороши. Так в чем же тут дело? Видимо, это были стихи не в моем духе, и только. Это бывает.

Помню, как однажды мой друг Агнесса Кун горько упрекнула меня, что я не подарил ей своей новой книги. А я уличил ее в том, что она эту книгу от меня получила, и объяснил эту забывчивость тем, что она осталась ею недовольна, ей не понравился последний раздел книги, стихи не в ее духе, хотя, вообще-то говоря, она очень любит и ценит мои стихи, лирические, но равнодушна к моим поэмам, к моему эпосу. И вот, найдя в книжке такие стихи, которые нравятся другим и не нравятся ей, она назло мне взяла и забыла эту книжку.

Так, видимо, и у меня произошло с Ксюшиными стихами. Я знал, что это фантастическое, остроумное существо таит в себе массу невыраженных чувств, мне интересных. И повторяю еще раз: я заранее принимаю упрек тех, кто скажет, что недооценил творчество Ксюши Некрасовой. Разве не прелесть, например, такие строки (я, наконец, прервав писание этой новеллы, нашел ее книжку, вышедшую посмертно):

В доме бабушки моей печка русская — медведицей, с ярко-красной душой — помогает людям жить: хлебы печь, да щи варить, да за печкой и на печке сказки милые таить.

Эти стихи, может быть, она писала своему сыну. Вот когда она начала писать детские стихи!

Правда, ребенка ей пришлось устроить в детский дом, так как квартиры у нее еще не было.

И эта квартира наконец появилась.

И въехав в эту квартиру, царская дочь упала мертвой, скоропостижно скончавшись от инфаркта, или от разрыва сердца, как это называлось в царские времена.

Алена Антонова

КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ*

Разве можно мимо тебя пройти?
Но я опоздала,
и взгляд мой,
словно яблоко,
не долетевшее до ладони моей сестры,
упал в траву
безымянного сквера Москвы,
где ты проходила несколько лет назад
в июне,
прозрачно-желтом от запаха праздничных лип,
где ты
безымянным младенцам
белых домов, тоненьких саженцев, мягкоухих
собак
дарила с улыбкой ребенка нежные имена,
и сначала шепотом
проверяла точность звучаний,
настраивая их крошечные скрипки...

Я узнаю
твою сероглазую Музу
на улице южного города,
вспыхнувшей тысячью граней,
когда молодая капель
отбивает весеннюю дробь.
Я узнаю ее по руке,
протянувшей первый букетик живого белого
цвета,

**Печатается по кн.: Антонова А. Вы живете напротив. Стихи. Симферополь, 1981.*

я узнаю ее по голосу,
в котором живет твой смех, твой плач,
твои разговоры, твои стихи.
И мне не нужно оглядываться назад,
в твое время,
потому что твой след всегда впереди меня...

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

* * *

Мы вспоминаем с нежностью Глазкова и Некрасову,*
Приглядываясь пристально к их судьбам и стихам.
Они своею странностью поэзию украсили,
как это и положено прекрасным чудакам.

Их бескорыстье светится, как вызов деловитости,
В их отрешенной кротости — заряды озорства.
Под маской скоморошеской блестит забрало витязя,
В лоскутной сумке странницы — жемчужные слова.

В кино Глазков снимается и в полынье купается,
О Хлебникове думает, весенних ждет ручьев.
Бездонная Некрасова в чужих пристройках мается,
Но о жилье для Ксении хлопочет Щипачев.

Так бытие работает, нескладный быт отбрасывая,
Смешки непонимания и чьи-то кривотолки.
Мы воскрешаем бережно Глазкова и Некрасову,
Беседы наши вдумчивы, свиданья наши долги.

Друзья с надеждой тянутся к оставленным бумагам,
Пускай листки разрозненны, не сыщешь строк пустых.

* *Печатается по кн.: Хелемский Я. Поздние беседы. Книга лирики. М. 1986.*

Казавшееся блажью вдруг обернулось благом, —
верлибры подмосковные, лукавый акростих.

Вот Коля в клубе сызнова мне жмет ладонь до хруста.
Все надолго рассчитано, отменная силенка.
А Ксюша улыбается недоуменно-грустно,
Лицо почти старушечье и взор как у ребенка.

КНИГИ КСЕНИИ НЕКРАСОВОЙ

Ночь на баштане. Стихи. Ред. С.Щипачев. — М.: Сов. писатель, 1955. — 36 с., 5000 экз.

А земля наша прекрасна! Ред. Е.Исаев. — М.: Сов. писатель, 1958. — 2 изд., доп. — М.: Сов. писатель, 1960.

Стихи. Сост. Л.Е.Рубинштейн. — М.: Сов. писатель,1973. — 160 с., 17000 экз.

Мои стихи. Сост. Л.Е.Рубинштейн. — М.: Сов. Россия,1976. — 176 с., 25000 экз.

Судьба. Книга стихов. Сост. Л.Е.Рубинштейн. — М.: Современник,1981. — 143 с., 20000 экз.

Я часть Руси. Стихи. Сост. В.П.Тимофеев. — Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд., 1986. — 64 с., 5000 экз.

Самые мои стихи. Ред.-сост. Т.А.Бек. Художник В.В.Медведев. — М.: Слово, 1997. — 104 с., 1000 экз.

В деревянной сказке. Сост. И.И.Ростовцева. — М.: Худ. лит., 1999. — 318 с. 5000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

“ЖИЗНЬ ТЫ МОЯ, ЖИЗНЬ...”

“Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ПРО КСЮШУ...”

Литературно-художественное издание

НЕКРАСОВА Ксения Александровна

НА НАШЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ

Стихи, наброски.
Воспоминания современников

Редактор *Л.П.Быков*
Художественное оформление *Л.П.Быков, Ю.Н.Филоненко*
Корректор *Н.А.Зайцева*
Компьютерная верстка *С.И.Недвига*
Компьютерный набор *С.В.Кошелева*

Изд. лиц. № 04401 от 26.03.01 г.
Подписано в печать 01.12.01. Формат 70Х90 1/32.
Бумага офсетная. Гарнитура *Arial Cyr.* Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,28. Уч.-изд. л. 9,31. Тираж 3000 экз. Заказ № 213.

Банк культурной информации:
620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 56.
Тел./факс: +7 (3432) 22-15-46.

Отпечатано в издательско-полиграфическом
комплексе «Звезда».
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.